

К 44 $\frac{9}{64}$

ВОЙНА



ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВ.
АЛЬМАНАХЪ



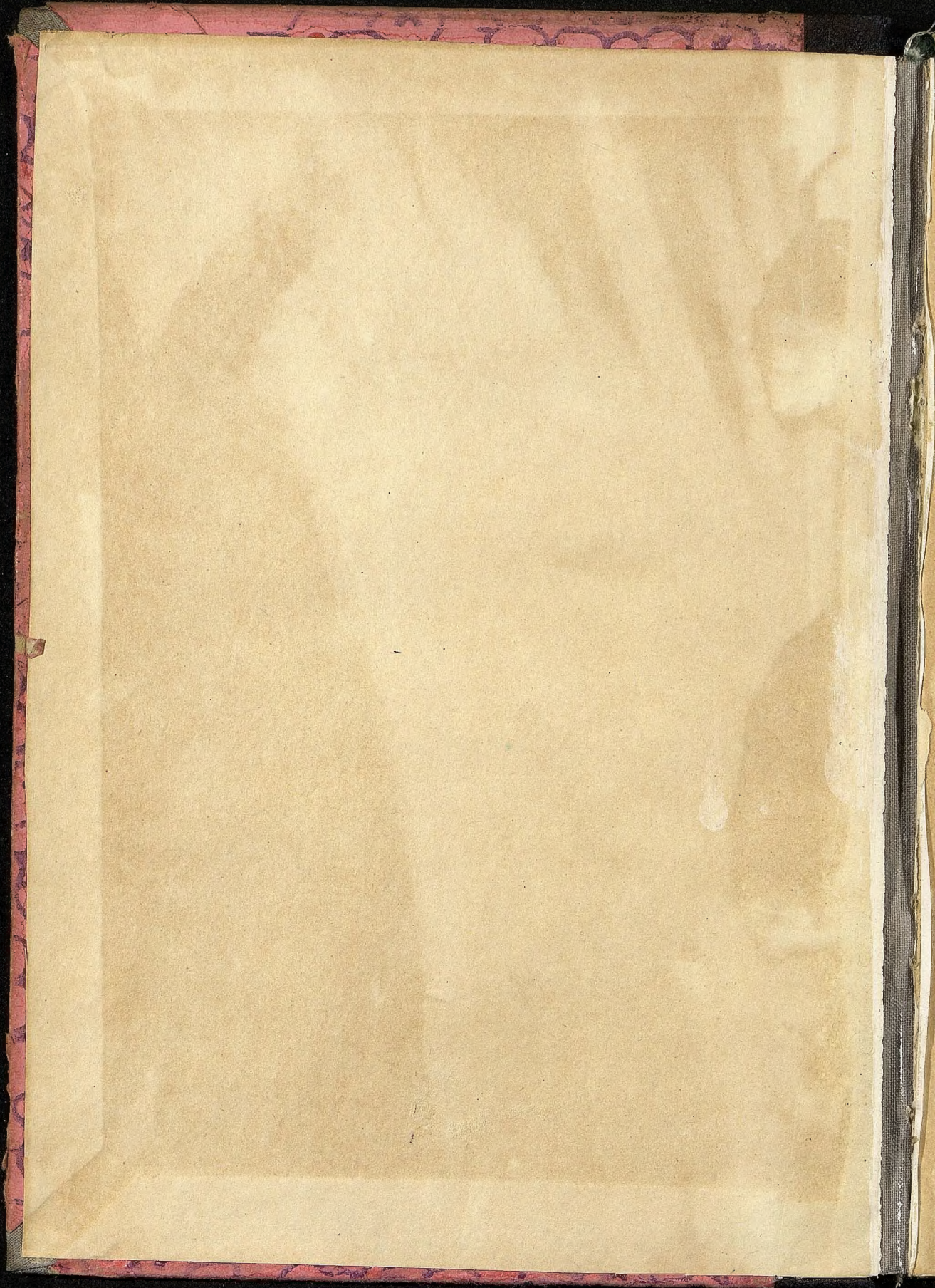
М. АРЦЫБАШЕВЪ: О. СОЛОГУБЪ.
А. КУПРИНЪ. ВАЛЕРІЙ БРЮСОВЪ.
ГР. АЛ. М. ТОЛСТОЙ. В. МЕМИРО-
ВИЧЪ. ДАМЧЕНКО: МИХ. АРХИ-
ПОВЪ: С. ГОРОДЕЦКІЙ. ВЛ.
МАЯКОВСКІЙ и друг.

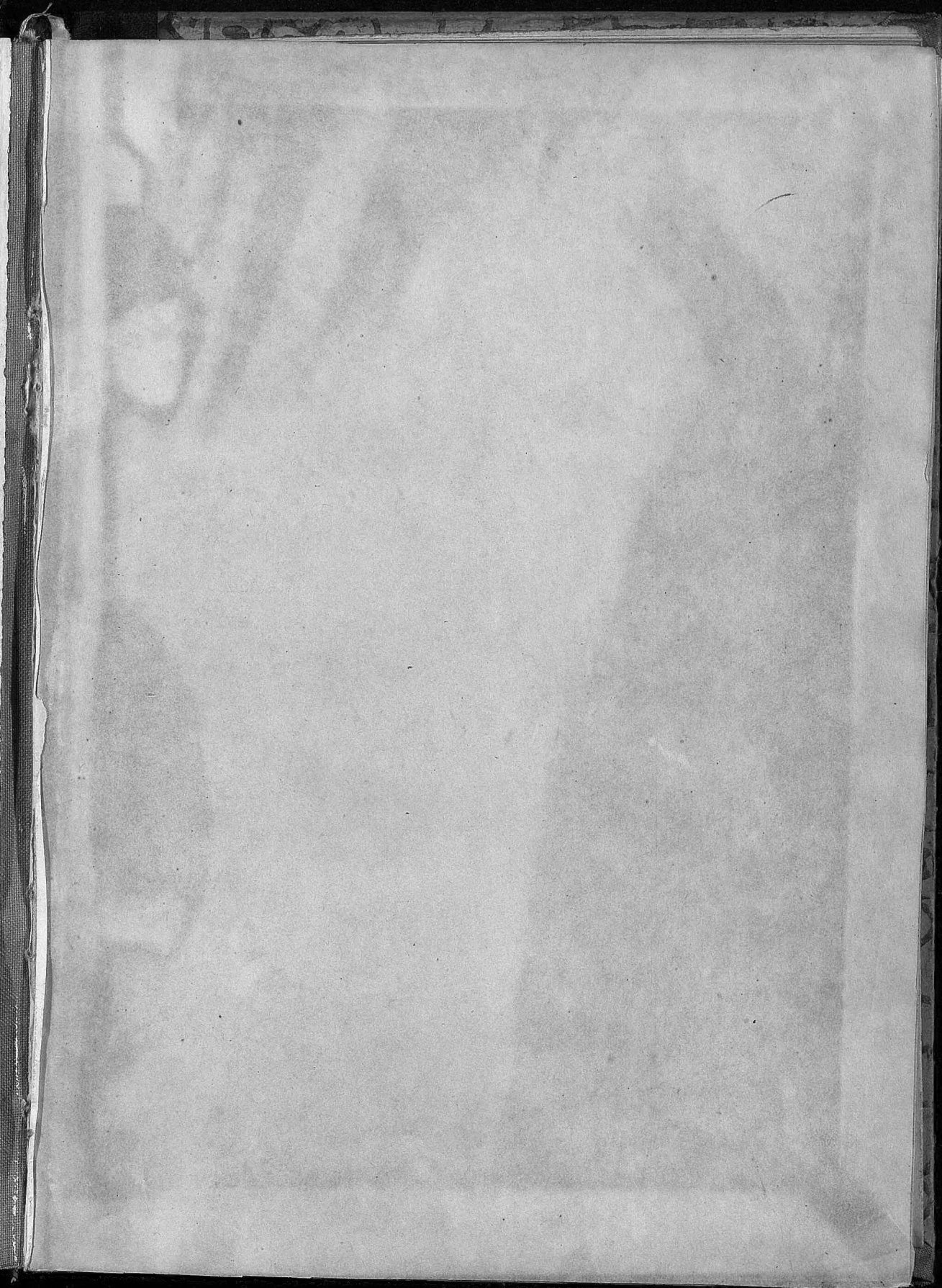
-ИЗД-СТВО „МЕЧЪ“

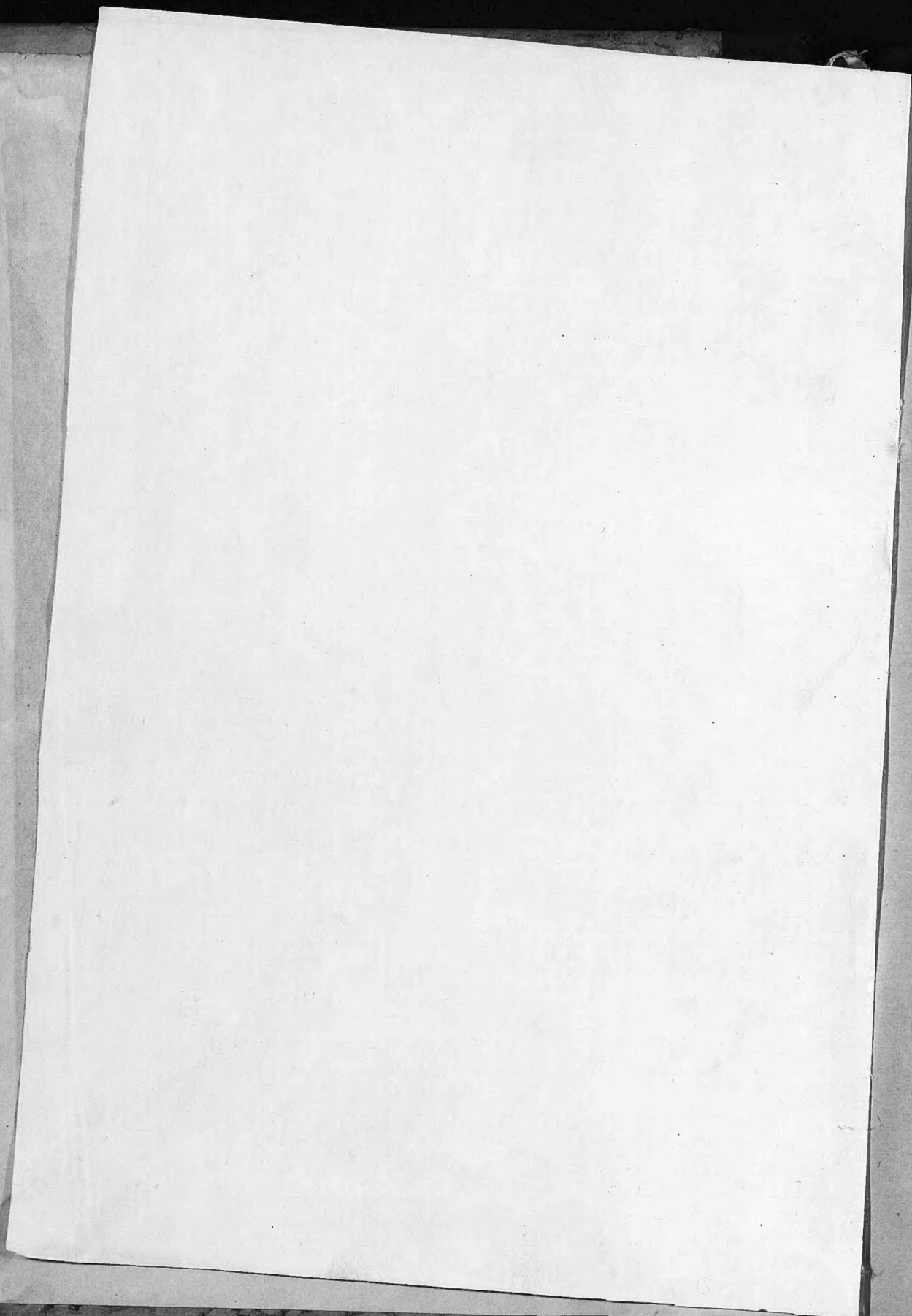
МОСКВА.

1-9-1-4

В. Переломанъ









БП

9



ст

КЧЧ $\frac{9}{64}$

КЧЧ $\frac{9}{64}$

АЛЬМАНАХЪ

891.

ВОЙНА

В.П. № 49197

№ 55

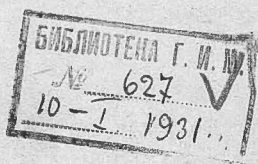
Изд. „МЕЧЪ“—Москва.

1914.

АЛРМАНХР

ВОЙНА

2



Мед. "МРДР" - Москва

1911

М. АРЦЫБАШЕВЪ.

По независимымъ отъ редакции и автора обстоя-
тельствамъ, настоящая статья печатается съ значитель-
ными сокращениями.

РЕДАКЦІЯ.

Война не произошла бы, если бы не было на то воли Вильгельма, но война и не произошла бы, если бы не было на это воли всего нѣмецкаго народа.

И Вильгельмъ Второй въ той же мѣрѣ повиненъ въ нава-
щеніе ужасномъ дѣлѣ, въ какой повиненъ и самый послѣдній
нѣмецкій коммунистъ-революціонеръ, идѣя котораго въ
воинственный «ура» въ сестрѣ-проходившихъ войскъ и сама охота
сдѣлать подѣлу, которую о себѣ

ВОЙНА.

Тотъ духъ безпримѣрно возмущаетъ, съ фактъ о себѣ
Началась война.
Надо быть очень наивнымъ, чтобы думать, будто война,
то-есть массовое убійство многихъ миллионовъ людей и ра-
зорѣніе еще большаго ихъ числа, произошло потому, что этого
захотѣлъ германскій императоръ, человѣкъ ограниченнаго ума и
пошлой души, Вильгельмъ Второй.

Какъ бы ни была велика кажушаяся власть этого человѣка
въ своей странѣ, но между этой властью и тѣмъ энтузіазмомъ,
съ которымъ вверглись въ войну миллионы нѣмцевъ, нѣтъ ника-

кой логической связи. Вильгельмъ Второй могъ дѣлать самые воинственные планы, могъ приказывать самыя разрушительныя вещи, но для того, чтобы нѣмецкій крестьянинъ или нѣмецкій купецъ взялъ ружье и рискуя собственной жизнью полѣзъ убивать другихъ людей, нужно, чтобы въ душѣ каждого нѣмца, подъ всѣми культурными наслоеніями, жилъ кровожадный инстинктъ разрушенія и убійства.

Конечно, если бы Вильгельмъ Второй не предписалъ въ извѣстный моментъ взять ружья, если бы онъ заранѣе не озаботился тѣмъ, что бы Круппъ въ достаточномъ количествѣ приготовилъ свои пушки, если бы онъ давно не старался о поднятіи въ своей странѣ военнаго сословія, окружая его совершенно исключительнымъ уваженіемъ, войны бы не было. Но онъ не могъ бы сдѣлать ни того, ни другого, ни третьяго, если бы каждый нѣмецкій бюргеръ не принималъ этого съ охотой и убѣжденіемъ въ необходимости этого.

Война не произошла бы, если бы не было на то воли Вильгельма, но война и не произошла бы, если бы не было на это воли всего нѣмецкаго народа.

И Вильгельмъ Второй въ той же мѣрѣ повиненъ въ начавшемся ужасномъ дѣлѣ, въ какой повиненъ и самый послѣдній нѣмецкій комми-вожеръ, гдѣ нибудь на Фридрихъ-Штрассе вопившій «ура» въ честь проходящихъ войскъ и самъ охотно ставшій подъ ружье, когда пришла его очередь.

Тотъ духъ безпримѣрнаго варварства, тѣ факты омерзительнѣйшихъ насилій надъ женщинами, издѣвательствъ надъ беззащитными путешественниками, застрѣвшими въ культурной Германіи передъ войной, тѣ факты уничтоженія цѣннѣйшихъ памятниковъ искусства и дикаго грабежа, которые съ такой безпримѣрной разнузданностью производятъ нѣмецкія полчища, доказываютъ, что духъ вражды и звѣрства, воплотившійся въ личности германскаго Кайзера, присущъ огромному большинству нѣмцевъ и, слѣдовательно, снимая съ Вильгельма исключительное обвиненіе, переноситъ его на всю тевтонскую народность.

И въ этомъ заключается главный ужасъ происшедшей войны. Не въ томъ, что пролита кровь, не въ томъ, что стрѣляютъ пушки, насилуются женщины и истребляются дѣти, а въ томъ, что духъ грабежа, насилія и убійства, духъ пламенной вражды, древній законъ дикаря, гласившій, что зло, содѣянное мнѣ — есть зло, а зло содѣянное другому, есть добро, до сихъ поръ силенъ и нѣтъ надежды на его исчезновеніе въ человѣческой природѣ.

Ибо въ концѣ концовъ эта несчастная обезумѣвшая Германія дѣйствительно стояла на той высотѣ культуры, до которой съ величайшими усиліями всѣхъ лучшихъ силъ человѣческаго духа могло подняться человѣчество.

И если эта культура такъ легко спала при первомъ призывномъ крикѣ дикаря, звавшего на грабежъ и убійство, то остается предположить одно, что въ человѣкѣ никогда и ни при какихъ условіяхъ не умретъ и не можетъ умереть дикій звѣрь.

И въ грядущихъ вѣкахъ несчастное человѣчество обречено на тѣ же кровавыя боины, вѣкъ отъ вѣка, становящіяся все ужаснѣе и безобразнѣе.

И въ этомъ заключается главный ужасъ происшедшаго событія.

Конечно, настоящая война кончится. Конечно, Германія будетъ раздавлена. Конечно, кровожадной ярости тевтонскихъ полчищъ будетъ положенъ предѣлъ. Но пройдетъ сто лѣтъ, тайный духъ дикости и зла, скопляющійся подъ корой внѣшней культуры, какъ гной подъ коростой опухоли, прорвется наружу и въ новой группировкѣ державъ, противъ новаго и неожиданнаго врага, снова начнется война, передъ которой то, что мы видимъ теперь, покажется такимъ же эпизодомъ, какъ намъ, современникамъ великой европейской войны, кажется теперь война двѣнадцатаго года.

Ибо корень не въ томъ, что въ настоящій моментъ нѣмцы оказались кровожаднѣе и злѣе другихъ, что въ настоящій моментъ нѣмцы ненавидятъ французовъ и русскихъ, а русскіе и

французы, ненавидятъ нѣмцевъ, а въ томъ, что и послѣ тысячи-
лѣтій культурной работы человечества надъ самимъ собою, че-
ловѣкъ оказывается способенъ такъ же ненавидѣть другого че-
ловѣка, какъ ненавидѣлъ его и въ самой первобытной обстанов-
кѣ первой борьбы за существованіе, человѣкъ каменнаго вѣка.

В соответствии с этим в отделе по борьбе с преступностью в настоящее время проводится работа по выявлению и ликвидации преступных элементов, а также по предупреждению преступлений.

[illegible]

OPTIC-FIBER RADIATION OPTOM

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED

КОНСТАНТИН ОД ДОБРИЦА И ТИМОТЕЈ ОД СТАНИЦА, ПОСЛАНИЦИ БИЛИСКИ ЕПИСКОП
 ЈЕВРЕЈИ ИЛИ ДИ И СЛАВНИИ ДИДАСКОСИ ЈЕЛОНЕ ОДНОГ АПОСТОЛСКОГ

Успешно не только в области культуры, но и в области экономики.

И в дальнейшем, исходя из принципов, заложенных в основу

на 17-м заседании Генерального секретариата ООН от 1964 года. Встреча состоялась 19-го января 1964 года в Женеве.

нре и 0000000000

00 ОТВИЩЕНОНОП ЛОЖИТЪ ИЛИНДЕНЪ РОТЪВРОИЕВЪЕ ДИЛОТЪ ДИ 11

খিতাব

— 70 —

Всего в 1947 году в СССР было построено 100 новых станций.

РАЗРЕШЕНО ИЛИ ЗАПРЕЩЕНО

ПОВЕРЛИВОСТЬ И ОТНОШЕНИЕ РАБОТНИКОВ РАЙОНА К РАБОТЕ РАЙОНА

RECEIVED THE SECRETARY OF THE ARMY, WASHINGTON, D. C.

—ЗНАЮЩИЙ АНТИСТ РОЖДЕНИЯ. ИЛИ: КАК ПОСРЕДСТВОМ ВОЗДУХА ДЕРЖАТЬ

БД.01 0197.005.611

1990 КОСОВИЦА НЕ НАЙДЕНА. ОТО НА РЕКТОРАТИВНО МОДЕЛИТЕ

ИЗДАНИЕ ПЕРВОЕ

ФЕДОРЪ СОЛОГУБЪ

НА НАЧИНАЮЩАГО БОГЪ.

На начинающаго Богъ!
Вѣщанью мудрому повѣрьте.
Кто шлетъ сосѣдямъ злыя смерти,
Тотъ самъ до срока изнемогъ.

На начинающаго Богъ!
Его твердыни станутъ пылью,
И обречетъ Господь безсилью
Его, зачинщика тревогъ.

На начинающаго Богъ!
Его кулакъ въ бронѣ желѣзной,
Но разобьется онъ надъ бездной
Онашъ незыблемый чертогъ.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY

1215 EAST 58TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637

TEL: 733-4331

TELETYPE: 733-4331

POSTAL ADDRESS: 5408 S. MICHIGAN AVE.

CHICAGO, ILL. 60637

А. И. КУПРИНЪ

О ВОЙНѢ.

Прежде чѣмъ сказать нѣсколько словъ о настоящей войнѣ, я считаю необходимымъ сдѣлать небольшую оговорку. Многіе знаютъ, что я—бывшій офицеръ, и потому, читая эту бесѣду, могутъ ожидать авторитетнаго мнѣнія о текущихъ событіяхъ. Никогда не переставая чувствовать себя военнымъ, я тѣмъ не менѣе вотъ уже нѣсколько лѣтъ, какъ бросилъ заниматься стратегическими выкладками и построениями и въ области военного искусства совершенно отошелъ въ сторону. И потому, бесѣдуя на данную тему, совершенно не буду касаться стратегическихъ манипуляцій воюющихъ армій, каковыя, если бы и зародились въ моемъ воображеніи, я все равно не раскрылъ бы читателю.

Настоящая война или, вѣрнѣе, настоящее народное настроеніе очень сильно напоминаютъ Севастопольскую кампанію. Тотъ же подъемъ патріотизма, то же стремленіе стать въ ряды дѣйствующей арміи, то же спокойствіе и такая же трезвая мобилизація.

Только потому, что результаты нѣсколькодневной подготовки прошли у всѣхъ на глазахъ можно повѣрить въ такое волшебное превращеніе нашего рабочаго, мужика, обывателя въ солдата, готоваго къ бою. Интересно, что нигдѣ неслышно бра-

вирующего «воинственного» настроения. Всѣ удивительно дѣловиты, спокойны, съ полнымъ сознаниемъ своей обязанности передъ родиной, съ твердымъ желаніемъ бороться до конца. Вотъ въ этомъ спокойномъ дѣловитомъ отношеніи къ предстоящей войнѣ и виденъ духъ, скрѣпившій въ настоящее время нашу армію въ единую компактную массу. Нашъ генеральный штабъ въ эти тревожные дни былъ на высотѣ своей сложной задачи. Несмотря на внезапную, никѣмъ не ожидаемую бурю,—ни капли растерянности, ни одного промаха, все какъ-будто сразу подпало подъ власть желѣзнаго механизма, пунктуальнаго, таинственнаго и непреклоннаго.

Мнѣ уже приходилось слышать недовольство по поводу медлительности и какъ-будто нерѣшительности нашихъ армій. Удивительно, какъ люди не могутъ понять, что большая серьезная стратегическая программа не можетъ базировать свой успѣхъ на частичныхъ побѣдахъ или пораженіяхъ и такія скоропалительныя побѣды часто кромѣ вреда ничего не приносятъ. Я считаю, что на войнѣ царитъ одинъ принципъ: побѣждаетъ тотъ, кто въ нужный моментъ въ наиболѣе важномъ пунктѣ сумѣетъ стянуть наибольшее количество войскъ.

И особенно теперь, когда противъ германскихъ армій выросли новые враги, Россіи не слѣдуетъ торопиться и гнаться за дешевыми лаврами. Ибо война несомнѣнно будетъ долгая и упорная, и расчетъ долженъ падать на дальнее будущее.

Противъ насъ идутъ полчища дикихъ, некультурныхъ Гунновъ, которые будутъ все жечь и уничтожать на своемъ пути и которыхъ надо уничтожить до конца. Я очень боюсь, что мягкость нашего правительства въ вопросахъ внѣшней политики и на этотъ разъ сыграетъ пагубную роль. Россія не сможетъ быть вполне послѣдовательною и справедливо-строгой, и въ тотъ моментъ, когда врагъ будетъ умолять о пощадѣ, мы милостиво дадимъ ее (удовлетворившись какимъ-нибудь территоріальнымъ кусочкомъ), гидра снова будетъ расти и злобствовать.

Въ исторіи Россіи такихъ примѣровъ было не мало и по характерной мягкости нашей націи можно ожидать, что и въ

ближайшемъ будущемъ наше правительство не станетъ, быть можетъ, на весьма суровую, но правильную точку зрѣнія. Всѣ звѣрства и безчинства, учиняемыя надъ нашими соотечественниками въ Германіи и Австро-Венгрии, особенно ярко подчеркиваютъ глубокую некультурность германскихъ народовъ. Эти народы, культивировавшие сотни лѣтъ прикладныя знанія и фабрикующіе прекрасныхъ техниковъ и инженеровъ, только съ этой чисто внѣшней стороны и носятъ слѣды культуры, — интеллектуальная же ихъ сущность немногимъ отличается отъ сущности средневѣкового варвара. Насколько въ русскомъ народѣ развито чувство огромной терпимости къ другимъ націямъ и безпристрастной оцѣнкѣ ихъ достоинствъ, настолько нѣмцы всѣхъ ненавидятъ, презируютъ и лишь себя считаютъ непогрѣшимыми властителями міра.

Особенно прямо-таки непонятна злоба и неприязнь противъ Русскихъ. Что сдѣлала Россія и Русскіе плохого Германіи? За что такая ненависть къ намъ царитъ на берегахъ Рейна? Развѣ за то, что Россія кормила ихъ своимъ хлѣбомъ, за то, что у нихъ сотни тысячъ Нѣмцевъ имѣли самый радушный пріютъ.

Нѣмецкій ученый Момзенъ въ своихъ статьяхъ вполне опредѣленно указалъ, что Россія страна рабовъ, страна съ ясно выраженнымъ женскимъ началомъ. А Германія — страна властелиновъ съ мужскимъ элементомъ, и что она по праву должна властвовать надъ Россіей и оплодотворять ее своими духовными цѣнностями.

Эта германская злоба, неприязнь, чрезмѣрная самолюбіе и самовлюбленность есть плоды строго обдуманной германской программы. Запугать окружающіе народы, внушить имъ понятіе о силѣ, могуществѣ и беспощадности германской націи, показать всѣмъ бронированный кулакъ и послѣ собирать обильную жатву. Но такъ какъ теорія не всегда сходится съ практикой, то и германскіе государственные умы не учли всѣхъ послѣдствій, распространяемыхъ теорій жестокости и беспощадности. Эта теорія, попавъ въ массы, превратилась въ грубую мясницкую психологію. Эта теорія сдѣлала то, что пропасть между прус-

скимъ офицеромъ и его солдатомъ стала огромной, и связи подчиненнаго съ начальникомъ въ германской арміи, кромѣ кулака, нѣтъ рѣшительно никакой. Тамъ офицерство обращается съ солдатами, какъ со скотами, и надѣюсь, что уже эта война покажетъ результаты такого отношенія. Я долженъ отмѣтить, что въ нашей арміи въ настоящее время (въ противоположность русско-японской кампаніи) царить рѣдкое единеніе.

Такая теорія жестокости и напугиванія уже вылилась сейчасъ въ невѣроятныя и никому ненужныя звѣрства въ Берлинѣ и сдѣлала то, что каждый русскій воинъ будетъ биться на полѣ брани съ утроенной энергіей, зная, что пощады и великодушія отъ своего врага ждать не придется.

Недавно я слышала, какъ деревенская баба рассказывала, что придутъ Нѣмцы и будутъ молодыхъ сажать на колъ, а старымъ отрубать головы.

У японцевъ тоже существуетъ строгая дисциплина, которой они стараются всѣмъ подчиненнымъ внушить, героизмъ, мужество, силу, и военную доблесть, но въ ихъ теоріи нѣтъ совершенно элементовъ жестокости.

Я не сомнѣваюсь, что союзныя войска побѣдятъ германскіе народы.

ВАЛЕРІЙ БРЮСОВЪ.

ПОЛЬШЬ.

Орелъ одноплеменный!
Вѣрь слову русскаго народа:
Твой пепелъ мы свято сбережемъ,
И наша общая свобода,
Какъ фениксъ, возродится въ немъ.

Ө. Тютчевъ.

Провидецъ! Стихъ твой осужденный
Не наше ль время прозрѣвалъ,
Когда «орелъ одноплеменный»
Напрасно крылья расширялъ!

Сны, что тебѣ туманно снились,
Предстали намъ воплощены
И вѣщимъ свѣтомъ озарились
Въ багровомъ заревѣ войны.

Опять роднаго намъ народа
Мы стали братьями,—и вотъ
Та «наша общая свобода,
Какъ фениксъ», править свой полетъ.

А ты, народъ скорбей и вѣры,
Подъявшій вмѣстѣ съ нами брань,
Услышь у гробовой пещеры
Священный возгласъ: «Лазарь встань!»

Ты, бывший мертвымъ въ этомъ мірѣ,
Но тайно памятный Судьбѣ,
Ты—званный гость на нашемъ пирѣ,
И первый нашъ привѣтъ—тебѣ!

Просторъ родимаго предѣла
Единымъ взоромъ облелѣй,
И крики «Польска не сгинѣла»
Съ побѣдной русской пѣсней слей!

Просторъ родимаго предѣла
Единымъ взоромъ облелѣй,
И крики «Польска не сгинѣла»
Съ побѣдной русской пѣсней слей!

Просторъ родимаго предѣла
Единымъ взоромъ облелѣй,
И крики «Польска не сгинѣла»
Съ побѣдной русской пѣсней слей!

Просторъ родимаго предѣла
Единымъ взоромъ облелѣй,
И крики «Польска не сгинѣла»
Съ побѣдной русской пѣсней слей!

ГР. АЛ. Н. ТОЛСТОЙ.

МАКЪ ВУКЪ.

На-дняхъ ко мнѣ зашелъ знакомый, помѣщикъ, человѣкъ образованный, долго жившій и учившійся въ Германіи, западникъ, отдавшій много силъ и средствъ просвѣщенію. Видъ у него былъ очень растерянный. «Читали, что въ газетахъ-то пишутъ, на что это похоже? Съ цѣпи всѣ сорвались? Да какъ же можно такъ писать о нѣмцахъ? Ничему не повѣрю: пристрѣливаютъ раненыхъ, насилуютъ женщинъ! Вранье. типичная некультурность!» вчера было все хорошо, сегодня они — и варвары, и дикари! Подумайте, это нѣмцы-то дикари. Что же теперь съ нами будетъ? Куда мы одни годимся? Вѣдь мы въ невѣжествѣ, въ темнотѣ пропадемъ. Боже мой, поднять руку на такую культуру!» Сначала робко, затѣмъ все горячѣе и злѣе говорилъ мой знакомый о великой, просвѣщенной, культурной Германіи. Выходило такъ, что пропади сейчасъ нѣмцы, рухнетъ вся земля, вся цивилизація, станемъ мы всѣ какъ свиньи, да и французы съ англичанами заодно съ нами.

Много поработали для духа человѣческаго нѣмцы отъ Якова Беме до Когена, отъ Баха до Вагнера и пр. и пр.; бѣдный Вертеръ отъ одной только меланхолии и чувствительности застрѣлилъ себя изъ пистолета сто лѣтъ назадъ, въ то время,

когда у насъ умѣли только гонять собакъ. Спросите хирурга, зубного врача, инженера, книжнаго издателя,—каждый отвѣтитъ, что надо ѣхать учиться къ нѣмцамъ. Говорятъ, въ женскомъ вопросѣ они отстали, но за послѣднія пять лѣтъ произошло и у нихъ женское движеніе. Словомъ, Германія до нынѣшней войны была на всѣ руки, пролѣзла во всѣ щели, даже японскія издѣлія научилась фабриковать. Дѣйствительно, ужъ не совершается ли величайшее преступленіе, не гаснетъ ли свѣтильникъ высоко поднятый нѣмецкой рукой?

Но тутъ мой знакомый запутался, смѣшавъ въ одно старую Германію до французской войны, нѣмецкую культуру послѣднихъ сорока лѣтъ и императора Вильгельма.

А смѣшивать такія вещи нельзя. Тѣни великихъ людей старой Германіи застилаютъ глаза, и, намъ кажется, что живъ еще ихъ творческій духъ. Проѣзжая мимо Кенигсберга, мы думаемъ: здѣсь родился и жилъ Кантъ, не замѣчая, что въ кустахъ и за парками скрыты тяжелыя орудія въ блиндажахъ, что сотысячный гарнизонъ менѣе всего думаетъ о «Критикѣ чистаго разума». Любуясь на живописныя озера, припоминаемъ стишокъ изъ Гейне и не знаемъ, что тихія озера минированы. Дивясь на благоустройство дорогъ, не видимъ, что подъ стриженнымъ кустарникомъ вдоль насыпи засыпана широкая русская колея прямо изъ Берлина на Москву. Въ глазахъ рябитъ отъ благоустройства, аккуратности и надписей, по которымъ можно, совершенно не думая, жить и не ошибаться. А затѣмъ, огромные, дешевые магазины Вертгейма, витрины, гдѣ все за одну марку, огненные рекламы, дѣловая вышколенная толпа. Университеты и политехникумы, кооперативы, банки, заводы, общественныя учрежденія,—все это лучше не можетъ быть. А передъ глазами проходятъ великія тѣни, по улицѣ каждое утро скачетъ Вильгельмъ. Удивительно!

Лѣтъ восемь назадъ, когда я пріѣхалъ въ Германію, обжилъ и попривыкъ, мнѣ стало бросаться въ глаза очень странное обстоятельство: какъ будто вся эта культура оборудована не

тѣми людьми, какихъ я встрѣчаю повсюду, а какимъ то инымъ, невидимымъ народомъ.

Мнѣ кажется, я встрѣтилъ этихъ людей. Однажды, 1-го мая, они шли за городъ плотными колоннами, нахмуренные и суровые, точно пришельцы во враждебной странѣ, точно предчувствуя, что въ день объявленія войны ихъ станутъ рубить и разстрѣливать въ Берлинѣ. Но этихъ я видѣлъ всего разъ, а пришлось мнѣ жить у средняго нѣмца Макса Вука, одного изъ тѣхъ шестидесяти милліоновъ, кто покупаетъ открытки съ изображеніемъ императора Вильгельма въ видѣ кормчаго за штурваломъ, на которомъ написано: «Германія». Максъ Вукъ былъ добрый, простой человѣкъ, и всѣ его пріятели и знакомые были простые, добрые люди, безъ ропота отдававшіе четверть своего заработка императору на солдатъ.

Максъ Вукъ былъ семейный, квартиру имѣлъ чистую и свѣтлую, жилъ же на кухнѣ, еще болѣе чистой и благоустроенной, гдѣ повсюду были надписи и указанія: на солонкѣ—соль, на кофейной банкѣ—кофе и т. д. Вставали въ шесть утра, ложились въ десять. Глава семьи, резонно полагая, что все благосостояніе семьи зависитъ отъ его здоровья, получалъ дома особый столъ, остальные же члены семьи ѣли поплоче и подешевле. Иногда всѣ отправлялись въ пивную, гдѣ Максъ Вукъ заказывалъ себѣ пива, счастливая же семья смотрѣла, какъ онъ его пьетъ.

Однажды онъ много веселился, участвуя съ женой въ «убойномъ праздникѣ». Собралось человѣкъ двадцать, купили живую свинью, нѣмцы надѣли бумажные передники и кокарды, нѣмки убрались цвѣтами, привязали свинью на веревку, утромъ повели ее въ ресторанъ, а къ вечеру всю съѣли.

Максъ Вукъ былъ очень почтителенъ. Однажды онъ съ женой разсматривалъ содержаніе моего бумажника и вынулъ входной билетъ въ политехникумъ, на карточкѣ была написана фамилія и титулъ, о которомъ Максъ Вукъ не зналъ. Прочтя, онъ и жена встали со смущеніемъ и какъ бы страхомъ, и попросили извиненія, что были со мной на ты,

Прошла недѣля, пока между нами не установились прежнія отношенія. Однажды онъ повелъ меня смотрѣть факельное шествіе. Ночью студенты-корпоранты, одѣтые въ ботфорты, со шпагами и зажженными факелами, прошли за городъ къ памятнику Бисмарка, гдѣ, преклонивъ колѣна, пѣли военныя пѣсни. «Это очень колоссально, это все люди лучшихъ фамилій»,—говорилъ Максъ Вукъ.

Проходили мѣсяцы, и тѣни великихъ нѣмцевъ ни разу не заглядывали на кухню Макса Вука. Одинъ день походилъ на другой до тошноты, до тупости. Помню, рядомъ со мной въ пивной сидѣлъ, положивъ локти на столъ, осовѣлый отъ скуки и тупости, краснощекій нѣмецъ. Кроткая и тоже краснощекая жена его, задумавшись, взяла кружку мужа и отхлебнула. Мужъ повернулся, въ осовѣлыхъ глазахъ его появилось неудовольствие, и онъ ударилъ жену по щекѣ; она опустила голову, онъ же продолжалъ курить, удовлетворенный и успокоенный.

«Онъ правъ, она не должна его раздражать, онъ работаетъ весь день и усталъ»,—сказалъ Максъ Вукъ. Дѣйствительно, вся Германія работала до одури, до тупости, напрягая послѣднія силы. Максу Вуку хватало времени только думать объ отдыхѣ, объ остальномъ же за него думалъ императоръ и люди изъ лучшихъ фамилій. При этомъ онъ зналъ, что ни одинъ часъ его работы не пропадаетъ даромъ, что съ каждымъ часомъ все дальше, все глубже проникаетъ нѣмецкая индустрія во всѣ щели міра.

Въ то время германское правительство добралось, наконецъ, и до русскихъ эмигрантовъ въ Берлинѣ и Дрезденѣ. Начались выселенія, жестокости. Отношеніе къ русскимъ студентамъ сразу перемѣнилось. Русскіе оказались въ положеніи людей, посягающихъ замазать щели, куда должны проникнуть плоды трудовъ Макса Вука. И нѣмцамъ стало незачѣмъ терпѣть нашу непонятную имъ безалаберность, неряшливость, весь нашъ неспокойный духъ. Заниматься же состраданіемъ и т. п., было некогда, и главное—каждый полагалъ, что или стань нѣмцемъ, или погибни,—другого выхода нѣтъ, потому что на первомъ мѣстѣ—

механика, индустрія, затѣмъ—національное чувство и уже послѣ всего—человѣкъ, нѣмецъ, который долженъ сократиться до послѣдней степени, чтобы пролѣзть во всѣ щели и овладѣть міромъ, такъ они смотрѣли и на Россію,—она должна стать или нѣмецкой, или ничѣмъ. Крымскіе землевладѣльцы-пруссаки обратились къ Вильгельму съ просьбой защитить ихъ въ виду слуховъ объ отчужденіи земель. Вильгельмъ отвѣтилъ, что если одинъ акръ нѣмецкой земли въ Россіи будетъ отчужденъ, то на защиту встанутъ полмилліона прусскихъ штыковъ.

Проѣзжая, затѣмъ, черезъ Германію нѣсколько лѣтъ спустя, я замѣтилъ, какъ напряженнѣе и механичнѣе стала вся жизнь, какъ самоувѣреннѣе и настойчивѣе разговаривали со мною нѣмцы. Я привезъ въ подарокъ Максѣ Вукѣ десять фунтовъ русской колбасы по давнишней просьбѣ. Максъ Вукъ хлопнулъ меня по плечу и повелъ смотрѣть императора. Былъ праздничный день. По улицамъ то и дѣло проходили батальоны солдатъ, выбрасывая ноги, какъ заведенные. Народъ высыпалъ изъ дверей, внимательно, съ ожиданіемъ глядя на войска. И вотъ подъ Липами, медленнымъ галопомъ на рыжемъ жеребцѣ проѣхалъ самъ Вильгельмъ. Мундиръ его былъ залитъ золотомъ, глаза неподвижные и свѣтлые, точно онъ все время глядѣлъ на несущійся передъ нимъ призракъ. Максъ Вукъ и всѣ остальные Максы, сняли котелки и съ жуткимъ восхищеніемъ, со страхомъ, съ ожиданіемъ глядѣли въ стеклянные глаза этого человѣка, который не видѣлъ никого и ничего, кромѣ призрака за ушами коня.

Затѣмъ Вуки надѣли котелки и вынули изъ кармана газетки, гдѣ ругательски поносился главный врагъ Германіи, варварская Россія, по непонятной причинѣ продолжающая крѣпнуть народомъ, богатствомъ и войскомъ послѣ разгрома японской войны.

И въ то время, когда черезъ Германію, какъ черезъ прекрасный механическій фильтръ просачивались къ намъ геніальныя открытія Франціи, Англіи и Новаго Свѣта, въ то время, когда мы почтительно и съ уваженіемъ учились наукамъ и ре-

меслу,—въ Берлинѣ каждое воскресенье назначались парады, страна была полна солдатъ, газеты писались кровью и желчью, и Максъ Вукъ, совсѣмъ затертый и обезличенный, старательно выполнялъ совѣты и предписанія газетъ: въ морозные дни, въ одномъ пиджакѣ, безъ галошъ два часа гулялъ по снѣгу, готовясь къ походу на Москву, заучивалъ необходимыя слова варварскаго языка и наполнялъ себя ненавистью къ варварамъ,—ненавистью лишеннаго духа, разума, свободы и воли существа.

И, наконецъ, они увидѣли, что Россія, должно-быть, сошла съ ума,—рѣшила увеличить армію. Чаша переполнилась: ярость, дикая ненависть охватила Германію,—ненависть къ чему то непонятному, темному, большому, поднявшему голову съ востока, изъ-за тумановъ и лѣсовъ.

И тогда, какъ въ сказкѣ, какъ изъ «Страшной мести», совершилось превращеніе. Добрый, вполне культурный, Максъ Вукъ, ставшій подъ ружье въ ландверномъ полку, вдругъ оскандился. Вы помните, «когда есауль поднималъ иконы, вдругъ все лицо казака перемѣнилось: носъ выросъ и наклонился на сторону, вмѣсто карихъ забѣгали зеленые очи, губы засинѣли, подбородокъ задрожалъ и заострился, какъ копье изъ рта выбѣжалъ клыкъ... «Это онъ, это онъ!»—кричали въ толпѣ. Выступилъ впередъ есауль... «Пропади образъ сатаны, тутъ тебѣ нѣтъ мѣста!», И, зашипѣвъ и щелкнувъ какъ волкъ зубами, пропалъ чудный старикъ»...

Не чудовище подняло голову изъ-за тумановъ и лѣсовъ, а знаменіе освобожденія и мира, знаменіе грядущаго освобожденнаго челоуѣчества поднялось съ востока, утвердилось на знаменахъ всѣхъ союзныхъ полковъ.

ВЛ. МАЯКОВСКИЙ.

«ВОЙНА ОБЪЯВЛЕНА».

«Вечернюю! Вечернюю! Вечернюю!
Италія, Германія, Австрія!»
И на площадь, мрачно очерченную
чернью,
Багровой крови пролилась струя!

Громадную морду обернула кофейня,
Звѣремъ рыча изъ окровавленного грима...
Отравимъ кровью игры Рейна!
Громами ядеръ на мраморъ Рима!

Съ неба, изодраннаго о штыковѣ жала,
Слезы звѣздъ просѣивались, какъ мука
 въ ситѣ,
И подошвами сжатая жалость визжала:
«Ахъ, пустите, пустите, пустите!»

Бронзовые генералы на граненом цоколе
Молили: «Раскуйте, и мы пойдём»...
Прощающейся конницы поцелуй цокали
И пѣхотѣ хотѣлось къ убійцѣ—побѣдѣ.

Громоздящемуся городу уродился во
сне

Хохочущий голосъ пушечнаго баса,
А съ запада падаетъ красный снѣгъ
Сочными клочьями человѣчьяго мяса.

Вздуваются на площади за ротой рота,
У злящейся на лбу вздуваются вены...
«Постойте, шашки о шелкъ кокотокъ
Вытремъ, вытремъ въ бульварахъ Вѣны».

Газетчики надрывались: «Вечернюю!
Вечернюю!..

Италія, Германія, Австрія!»
А изъ ночи, черно очерченной мерью,
Багровою крови лилась и лилась струя.

НИКОЛАЙ АРХИПОВЪ.

ВИЛЬГЕЛЬМЪ II И ЖОРЖЪ ТЯПКИНЪ.

Magni nominis umbra...

Далекій Жоржинька Тяпкинъ, другъ моей мятежной юности, какъ неожиданно вспоминаю тебя, при такой странной, хотя и почетной ассоціаціи.

Ты, недоросль, сынъ мирнаго кубанскаго есаула—помѣщика, юноша не осилившій ни одного учебнаго заведенія, юноша рѣшительно безъ всякихъ опредѣленныхъ занятій.

И:

Вильгельмъ II, всемогущій кайзеръ объединенной Германіи, гроза Европы, новоявленный Наполеонъ, бросившій желѣзную перчатку всему міру!

Какая странная, въ самомъ дѣлѣ, ассоціація, казалось бы, не имѣющая никакихъ ни внутреннихъ, ни внѣшнихъ сходствъ...

Впрочемъ, со стороны внѣшней я уже улавливаю нѣчто общее. Стоитъ мнѣ, Жоржинька припомнить твои толстые-пре-толстые усы—колбасой (это въ 19—20 лѣтъ!), усы, гордо бросавшіе вызовъ самимъ небесамъ, стоитъ мнѣ припомнить эти изумительные усы, безбожно разорявшіе тебя на фикстуаръ и помаду, но зато наполнявшіе твое буйное сердце настоящей «мущинской» гордостью...

Такъ вотъ, говорю, стоитъ мнѣ припомнить эти краснорыжіе усы, какъ невольно лѣзутъ въ голову десятки нѣмецкихъ

журнальчиковъ, въ которыхъ такъ часто можно видѣть портреты величественнаго кайзера.

Но дѣло, конечно, не въ однихъ усахъ, мало ли у насъ на Руси усатыхъ людей!

Постараюсь же припомнить Жоржиньку не только со стороны великолѣпныхъ усовъ.

* * *

Просидѣвъ самымъ упорнымъ образомъ три года въ первомъ классѣ гимназіи, Жоржинька вынужденъ былъ оставить стѣны этого негостепріимнаго заведенія, чтобы беззамедлительно перекочевать въ реальное училище.

Смѣнилъ бѣлый кантъ на желтый и засѣлъ припѣваючи за учебу.

Здѣсь тоже пришлось просидѣть три года въ томъ же первомъ классѣ и, къ великой своей радости и къ тайной зависти малышей, одноклассниковъ, удалось положить прочное основаніе изумительнымъ усамъ.

Увы, далѣе этого учеба не пошла: здѣсь Жоржинька окончательно сложилъ оружіе въ неравной борьбѣ съ наукой.

Впрочемъ, сіе ужъ и не важно было, ибо какъ разъ въ это время у него забилъ фонтанъ талантовъ. И началось это, слѣдующимъ ужаснымъ образомъ.

Какъ-то заходилъ ко мнѣ Жоржинька, а на лицѣ этокое значительное выраженіе.

Значительно пожалъ руку, значительно подмигнулъ и, легонько хлопнулъ меня по колѣнкѣ, рѣшительно заявилъ:

— Дѣло, братъ, наше въ шляпѣ...

— Какъ, развѣ картузь реального училища уже по-боку?— попробовалъ я скаламбурить.

На лицѣ Жоржиньки сразу же отпечаталось глубоко-презрительное и даже негодующее выраженіе.

— Какое тамъ еще училище!.. Къ чорту эту дребедень!.. Талантъ, братъ, во мнѣ открылся—вотъ штука-то въ чемъ!..

На мой искренно-удивленный взгляд Жоржинька только лихо закрутил усы.

— Какой же, Жоржинька, талант?

— Какой? А вот отгадай-ка!

Я посмотрѣлъ на Жоржиньку со всѣхъ сторонъ и безпомощно развелъ руками. Мнѣ казалось, что, если Жоржиньку уложить подъ микроскопъ, то и тогда не удастся ничего обнаружить.

Я еще разъ недоумѣнно развелъ руками и сознался, что ничего придумать не могу.

Жоржинька залился радостнымъ, жеребинымъ хохотомъ и, вдосталь насмѣявшись, иронически произнесъ:

— А еще считаешься умнымъ!..

Жоржинька полѣзъ въ свои биткомъ набитые карманы, разыскавъ въ нихъ пятикопѣчную коробочку папирозъ и, не спѣша закуривъ, томно развалился на диванѣ.

— Я, братецъ ты мой, будущій Паганини...

— Какъ?!

— Какъ слышишь: Паганини... Самъ Эдмондъ Карловичъ подтверждаетъ это... Да вотъ посмотри!..

Жоржинька сорвался съ дивана, сбѣгалъ въ переднюю и черезъ минуту вернулся со скрипкой въ рукахъ.

— Я, братъ, ее нарочно прихватилъ, чтобы ты могъ вполне убѣдиться... Слушай!

Жоржинька трагически наморщилъ брови, вдохновенно потрянулъ головой и заигралъ колыбельную пѣснь Неруда.

Жалкіе, жиденькіе звуки, въ полномъ безпорядкѣ, робко прыгали изъ-подъ безмощнаго смычка и точно жаловались на Жоржиньку:

— За что ты насъ терзаешь, такихъ хилыхъ и слабыхъ!..

Музыкантъ, однако, рѣшительно махалъ смычкомъ, энергично вертѣлъ всѣмъ корпусомъ, прижималъ щеку къ самой декѣ строилъ хитроумнѣйшія гримасы, долженствовавшія изображать вулканическій темпераментъ, и время отъ времени по-

сматривалъ на меня, желая найти на моемъ лицѣ изумленіе и растерянность...

Игралъ Жоржинька долго. Часа три.

Три часа игралъ колыбельную пѣснь Неруда.

Съ кухни уже дважды приходила моя матушка и, вызвавъ меня въ сосѣдную комнату, спрашивала:

— Долго еще этотъ аспидъ будетъ пиликать?..

Наконѣцъ, Жоржинька опустилъ смычекъ. Съ лица катились крупныя капли пота, усы обмякли и опустились долу, крахмальный воротничекъ безпомощно болтался мокрой тряпичей, тикъ былъ красенъ.

Я сидѣлъ на диванѣ, совершенно подавленный.. Казалось, что жалкіе жиденькіе звуки глубоко залѣзли ко мнѣ въ уши, въ носъ, въ желудокъ и прыгають тамъ и дребезжать.

— Ну, что, братъ?—вытирая платкомъ испарину, побѣдонсно вопрошаетъ Жоржинька.

Обезсиленный, я еле промычалъ:

— Да, братъ... того... чортъ тебя дери!..

— Каковъ тонъ!.. Какова техника! А двойныя ноты! А!..

— Да... чортъ возьми....

Ну, то-то же!.. Вотъ и Эдмондъ Карловичъ то-же самое говорить.

* * *

Съ той поры часто и долго Жоржинька изводилъ своихъ знакомыхъ пѣснью Неруда.

Наконѣцъ, всѣ сообразили и отдали прислугѣ распоряженіе:

— Со скрипкой Жоржиньку не впускать!

Тогда Жоржинька изловчился и иногда, къ нашему ужасу и негодованію прислуги, проносилъ ее подъ полой.

Но вотъ и скрипка и Нерудъ (котораго, къ слову сказать, мы возненавидѣли безмѣрно) исчезли съ нашего горизонта.

Говорили, впрочемъ, что скрипка безвременно погибла довольно насильственнымъ образомъ: послѣ какого-то очереднаго концерта-инквизиціи толстякъ Эдмондъ Карловичъ, нечаянно

услся на скрипку Жоржиньки и не вставалъ до тѣхъ поръ, пока она не превратилась въ тоненькій пласть щепочекъ.

* * *

Разсказавъ о музыкальной карьерѣ Жоржиньки Тяпкина, я невольно вспоминаю и великаго кайзера Вильгельма II.

Прослушавъ какъ-то въ Байретѣ «Парсифалъ» — Вагнера, онъ сказалъ себѣ:

— Donner vetter! Совсѣмъ не плохая пьеска! И странно, что написалъ ее какой-то богъ-вѣсть, Рихардъ Вагнеръ!.. Не герцогъ, даже не баронъ, даже, чортъ возьми, не имѣетъ приставки «фонъ» (а что ужъ это за человекъ, ежели безъ «фонъ-а»!). И вдругъ написалъ совсѣмъ не плохую пьеску. Странно...

Повелитель Германіи раздумно повелъ геройскими усами, минуточку подумалъ и сдѣлалъ рѣшительный выводъ:

— Ежели никому невѣдомый Рихардъ Вагнеръ пишетъ недурныя пьески, то великій кайзеръ можетъ написать нѣчто воистину гениальное. Ибо на то онъ и есть великій кайзеръ!

И, воинственно сдвинувъ плечи, изрекъ:

— Желаю быть великимъ композиторомъ!

И приказалъ подать нотной бумаги.

— Да побольше! Нужно въ одинъ присѣсть обогатить міръ букетомъ изумительныхъ шедевровъ!

И сѣлъ творить...

Вѣроятно, какъ и у Жоржиньки, катились у него по лицу крупныя капли пота, обмякли усы, мокрой тряпочкой повисъ воротничекъ, а ликъ былъ красенъ.

Къ сожалѣнію, мы не знаемъ, кому великій кайзеръ разыгрывалъ свои пьесы, не знаемъ, кто именно сидѣлъ на диванѣ, совершенно подавленный и убитый, не знаемъ, кому вѣхали въ самыя печенки гениальные звуки царственнаго композитора.

Не знаемъ даже — нашелся ли тамъ свой толстякъ Эдмондъ Карловичъ, который прочно услъся на гениальныя партитуры и не всталъ до тѣхъ поръ, пока они не истлѣли.

Но зато досконально знаемъ, что въ любой нотной лавочкѣ совсѣмъ безъ труда можно достать Рихарда Вагнера.

И нигдѣ, рѣшительно нигдѣ не добыть намъ геніальныхъ партитуръ Вильгельма Гогенцоллерна.

— Ахъ, міръ, этотъ тупой міръ, еще не понимаетъ всѣхъ бездонныхъ глубинъ истинной красоты!

Онъ, право, не доросъ до этого!

Только поэтому ни въ одномъ музыкальномъ магазинѣ вы не найдете ни пластинокъ, наигранныхъ великимъ скрипачемъ Жорженькой Тяпкинымъ, ни нотъ, сочиненныхъ столь же великимъ композиторомъ Вильгельмомъ Гогенцоллерномъ!

* * *

Я вновь погружаюсь въ сѣдину вѣковъ моей юности, вновь вижу тамъ незабвенный, ярко сіяющій образъ нашего истязателя Жоржиньки Тяпкина...

Послѣ великодушнаго поступка славнаго Эдмонда Карловича мы нѣкоторое время жили весьма тихо и достаточно пріятно, а въ воспоминаніяхъ нашихъ истерлась окончательно злополучная колыбельная пѣснь Неруда.

Жоржинька приходилъ частенько. Значительно топорщилъ усы, съѣдалъ за чаемъ всю вазочку варенья, опоражнивалъ на чисто сухарницу. И, вообще, велъ себя вполне добропорядочно.

Правда, я иногда ловилъ косые взгляды моей матушки, бросаемые то на вазочку, то на сухарницу. Но каждый разъ она безропотно подсыпала сухарей, безропотно доставала изъ буфета большую банку съ вареньемъ.

Словомъ, жизнь наладилась пріятная.

Но издавна извѣстно, что міръ наполненъ мелкими завистливыми бѣсенятами, которые никакъ не могутъ мириться съ чуждовѣческимъ благополучіемъ и которые всегда вставляютъ въ него палки.

Мелкіе бѣсенята позавидовали и намъ. И произошло это слѣдующимъ образомъ:

Я мирно сидѣлъ за «Критикой чистаго разума», когда въ комнату, подобно вихрю влетѣлъ Жоржинька, потрясая какой-то небольшой книженкой.

— Нашелъ!..—рявкнулъ онъ во всю мочь и остановилъ на мнѣ сіяющій экстазомъ взглядъ.

Я посмотрѣлъ на книженку и равнодушно спросилъ:

— Гдѣ нашелъ?

— Въ себѣ!..

— Книжку-то?..

— Какую тамъ книжку! Талантище—вотъ что нашелъ!

Помню, я тогда же почувствовалъ что-то недоброе, угрожающее намъ тѣми или иными непріятностями.

— Какой же талантъ?—не безъ робости спросилъ я.

— Вотъ!

И Жоржинька протянулъ мнѣ книженку. На обложкѣ было напечатано: «Гамлетъ—Принцъ датскій».

— Но вѣдь это Шекспиръ написалъ...

Жоржинька снисходительно улыбнулся.

— Чудакъ ты, а еще умнымъ считаешься... Написать, братъ, не штука, а вотъ попробуйка прочитать!

Я сидѣлъ, и ровно ничего не понимающими глазами смотрѣлъ на Жоржиньку.

— Эрнесто Росси знаешь?

— Трагика? Знаю.

— Такъ вотъ имѣй въ виду, что Эрнесто Росси—мальчишка!

— А говорятъ, что ему уже семьдесятъ пять стукнуло...

— Не въ томъ смыслѣ... Мальчишка въ сравненіи со мною по таланту! Вотъ въ чемъ шутка-то.

И я сразу все понялъ, и языкъ мой онѣмѣлъ отъ грядущаго ужаса. А Жоржинька воинственно смотрѣлъ на меня.

— Да, бр-р-ратъ (трагики всегда злоупотребляютъ буквой «р») и талантище же у меня! Повѣришь бррратецъ, когда я вхожу на кухню съ монологомъ, Анфиса-кухарка не выдерживаетъ: крестится, плюется и окончателно удирраетъ съ кухни. Да что тамъ толковать, вотъ я тебя изобрражу.

Ахъ, я не стану вамъ разсказывать, какъ Жоржинька нѣсколько часовъ подрядъ вопилъ благимъ матомъ, не стану описывать, какъ онъ, вращая во всѣ стороны бѣлками и судорожно извиваясь змѣей, бросался то въ сторону шкафа (Полоній), то въ сторону умывальника (Тѣнь отца), не стану описывать, какъ онъ стремительно направлялся ко мнѣ (Офелія) и съ пламеннымъ шепотомъ топтался по моимъ ногамъ.

По благоразумному примѣру кухарки Анфисы, я нѣсколько разъ пытался улизнуть изъ комнаты, но каждый разъ Жоржинька ловилъ меня за руку и рычалъ звѣремъ-дикимъ:

— Нѣ-ѣ-ѣ, убійца, ты не уйдешь отъ меня живымъ!.. (Это ужъ не изъ «Гамлета»). Я ррразможжу твой черррепъ, окаянный!..

Потерявъ голосъ до послѣдняго хрипа, отбивъ свои и мои ноги, препотѣвъ до пуговицъ сюртука, Жоржинька, наконецъ, остановился и бросивъ на меня, въ изнеможеніи лежащаго на диванѣ, побѣдоносный взглядъ, спросилъ:

— Ну, каково?!

— Ахъ, чортъ бы тебя побралъ...— пробормоталъ я, обезсиленный.

— Хо-хо... Это еще пустяки!..

Жоржинька раздумно остановился:

— Я бы тебѣ еще «Короля Лира» загнулъ, да ужъ извини, до слѣдующаго раза: признаться, очень вспотѣлъ...

Долгихъ полгода изводилъ насъ Жоржинька Шекспиромъ. Впрочемъ, это былъ даже не Шекспиръ, ибо по лѣности Жоржинька не могъ выучить ни одного монолога и прибѣгалъ къ спасительной отсѣятинѣ, въ которой можно было найти все, кромѣ смысла.

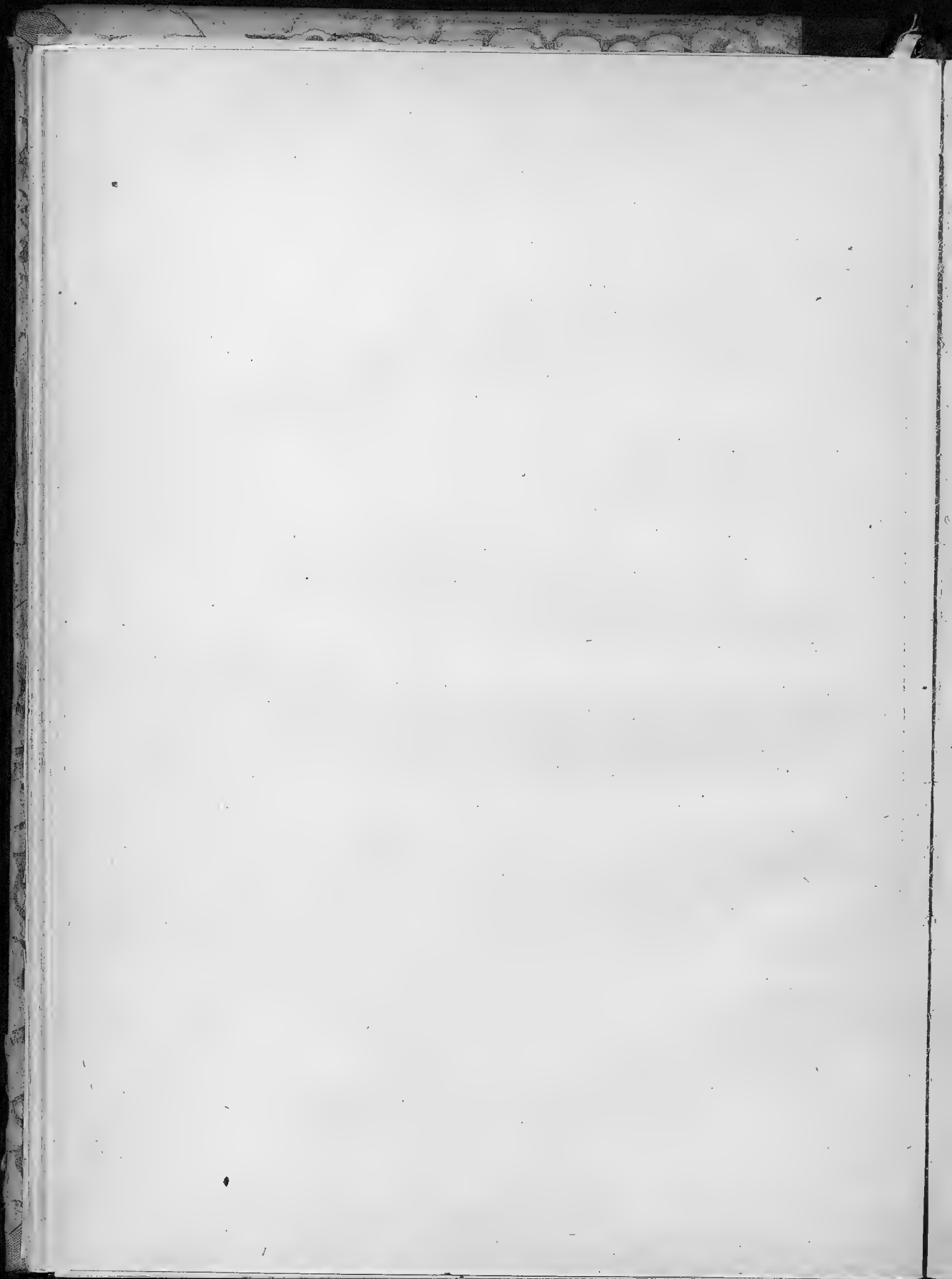
Долгихъ полгода мы боязливо прислушивались къ звонку въ передней и съ боязнью вслушивались въ шаги пришедшаго, пока не убѣждались, что принадлежали они не Жоржинькѣ.

И казалось, не будетъ конца нашимъ бѣдамъ, ибо гдѣ же найти такого Эдмонда Карловича, который уеѣлся бы на горло великаго трагика Жоржиньки Тяпкина!



А: КУБИНЪ.

Война.



И только сама природа избавила насъ отъ тираніи: послѣ какого-то многочасового измывательства, Жоржинька выско-
чилъ на морозъ и, къ нашему, вполне искреннему восторгу,
сразу, на нѣсколько мѣсяцевъ потерялъ свое страшное орудіе,
свой рявкающій голосъ.

* * *

И вотъ, вспомнивъ великаго трагика Жоржиньку Тяпкина,
мнѣ невольно приходитъ на умъ и великій ораторъ и проповѣд-
никъ Вильгельмъ Гогенцоллернъ.

Произошло это, вѣроятно, не безъ вліянія древней исторіи.

Просматривая сію любопытную книжку, вниманіе великаго
кайзера остановилось на пріятной карьерѣ Цицерона.

— Donner vetter! Какой-то римлянинъ, т. е. иначе говоря—
итальянецъ, лацарони, и вдругъ этакій совсѣмъ не плохой
ораторъ!

Перевернувъ нѣсколько страницъ любопытной книжки, ве-
ликій кайзеръ наткнулся на еще болѣе нелѣпый случай.

— Какой-то косноязычный грекъ Демосѣенъ, и вдругъ...

Взглядъ великаго кайзера невольно устремился къ картѣ
земного шара, гдѣ площадь Греціи занимала совсѣмъ не почет-
ное по величинѣ мѣсто.

— Хотя бы этотъ Демосѣенъ китайцемъ былъ—не такъ
обидно: все же большое государство!

Долго великій кайзеръ ходилъ по кабинету, бряцая шпо-
рами и молодецки выпячивая грудь, и, наконецъ, собравъ всѣхъ
министровъ и придворныхъ, торжественно заявилъ:

— Окончательно желаю быть великимъ ораторомъ и про-
повѣдникомъ! Ибо разъ какіе-то мизерабельные итальянцы, гре-
ки и прочіе инородцы могутъ, то я, великій кайзеръ и подавно!..

Такъ какъ министры и придворные по неопытности своей
никакихъ бѣдъ отъ августѣйшаго словоизверженія не ожидали,
то почтительнѣйше одобрили рѣшеніе своего повелителя, (ибо:
чѣмъ бы дитя не тѣшилось—лишь бы не плакало!).

— Итакъ, слушайте...—началъ великій кайзеръ...

.....

Мы не знаемъ, до котораго пота ораторствовалъ повелитель Германіи, не знаемъ, кто успѣлъ удрать изъ кабинета и кто остался обреченнымъ.

Не будучи въ курсѣ интимной жизни великаго кайзера, мы также не знаемъ, какимъ образомъ отнеслась къ проповѣдямъ великаго проповѣдника Вильгельма Гогенцоллерна, его кухарка Анфиса. (Не знаемъ даже, имѣется ли у него такая кухарка).

Однако, хорошо знаемъ, что, благодаря многимъ рѣчамъ вѣнценоснаго оратора, круто подчасъ приходилось его премьеръ-министрамъ, которымъ то и дѣло приходилось извиняться за содержаніе удивительныхъ рѣчей великаго оратора Вильгельма Гогенцоллерна.

И вѣроятно, въ концѣ концовъ, взмолились господа министры слезно:

— Ваше величество, ради Бога, почтительнѣйше молимъ: заткните вашъ августѣйшій фонтанъ... Потому, какъ нѣтъ нашей никакой возможности!..

Неизвѣстно внялъ-ли великій ораторъ мольбамъ своихъ министровъ, или спасительный сквознякъ избавилъ народы отъ геніальныхъ филиппикъ великаго оратора, но давно ужъ не упражняется великій кайзеръ въ ораторствѣ; по крайней мѣрѣ, на людяхъ...

И міръ, этотъ жалкій міръ, опять не понялъ, не оцѣнилъ бездоннаго таланта: ни въ одномъ книжномъ магазинѣ и ни за какія деньги нельзя добыть собранія изумительныхъ рѣчей великаго оратора Вильгельма Гогенцоллерна!..

Но тѣмъ хуже для неблагодарнаго человѣчества...

* * *

Я вновь безпокою прахъ воспоминаній.

И вновь (впрочемъ, ужъ въ послѣдній разъ) направляю глаза моей памяти къ тебѣ, другъ моей юности, къ тебѣ, Жоржъ Тяпкинъ,—неизбывный кладезъ талантовъ.

Я помню, какой унылый ты являлъ видъ съ перевязаннымъ горломъ.

Я помню, что и усы твои изумительные не радовали твоего духа.

И долго-долго ходилъ ты мокрой курицей, тѣша свою душу единственно сдобными лепешками и вареньемъ моей гостепріимной матушки.

И маловѣрные начинали думать, что исчерпанъ уже кладезъ твоихъ неизбывныхъ талантовъ, что закатилась твоя яркая звѣзда...

Ахъ, слишкомъ рано мы тебя похоронили, многогранный Жоржинька Тяпкинь!

Рано, ибо въ одинъ, прекрасный для тебя и безпокойный для насъ день, ты влетѣлъ въ мою мирную комнату, и по крайне воинственному виду твоихъ удивительныхъ усовъ я понялъ, что опять забурилъ въ тебѣ фонтанъ талантовъ.

Метнувъ въ меня давно знакомымъ взглядомъ, ты не безъ лукавства спросилъ меня:

— Хочешь, кулакомъ стѣну прошибу?

Я, конечно, этого не хотѣлъ, въ чемъ чистосердечно и признался тебѣ.

— Жаль, а то бы я живо... Гм... Ну, въ такомъ случаѣ, жалеешь—я моментально оторву ножку отъ твоей кровати?

Сообразивъ своевременно, что на трехъ ножкахъ спать недостаточно удобно, я не замедлилъ высказать тебѣ мои соображенія на этотъ счетъ.

Тогда ты, осмотрѣвъ жадными глазами мою комнату, остановился на мраморномъ умывальникѣ.

— А вотъ, не хочешь-ли, я эту штуку самолично вышвырну въ окошко?

Послѣ нѣсколькихъ еще, столь же безпокойныхъ, проектовъ, я попросилъ тебѣ объяснить—въ чемъ же собственно дѣло?

— А въ томъ, что я, братецъ ты мой, атлетъ, да еще какой!.. Слыхалъ про Поддубнаго?

— Слыхалъ...

— Мальчишка, форменный мальчишка: въ двѣ минуты разложу на всѣ четыре лопатки... Да вотъ, осязай-ка!..

Ты протянулъ тогда мнѣ свой локоть.

— Пощупай-ка мой бицепсъ, трицепсъ...

Я ощупалъ твои бицепсы и трицепсы.

— Ну, теперь ногу, икру... Не стѣсняйся, осязай посильнѣй.

Ощупалъ и ногу, и икру.

— Ну, что, чортъ возьми?!

— Да... того...

— Чистѣйшая, братецъ, сталь! Гранить! Пойду къ Александрѣ Никитишнѣ—(это моя матушка) покажу и ей бицепсы...

Ахъ, Жоржинька Тяпкинь, какимъ тогда тяжелымъ крестомъ онъ былъ для насъ!

Приходя въ гости, онъ притаскивалъ съ собой гири, гантели и показывалъ намъ наихитроумнѣйшія эволюціи «выжиманія», «выбрасыванія» и «выкручиванія».

Онъ заставлялъ всѣхъ ощупывать его руки, ноги, шею.

Онъ громыхалъ своими тяжелыми гирями и беспокоилъ нижнихъ жильцовъ.

Онъ портилъ полы, сбивая съ нихъ краску. Онъ опрокинулъ столъ съ чайной посудой, показывая какой-то трудный номеръ.

Онъ... Впрочемъ, развѣ можно перечестъ все, что сдѣлалъ великій геркулесъ Жоржъ Тяпкинь!

Это невозможно!

Мы ужъ и не знали, чѣмъ все это кончится, если бы не само Провидѣніе, въ лицѣ моего младшаго братишки—гимназиста Миши.

И пришло это избавленіе совсѣмъ неожиданно.

Разойдясь какъ-то не въ мѣру, Жоржинька всѣхъ насъ вызвалъ на ратоборство.

Мы благоразумно воздержались, почтительно поглядывая на его гири и бицепсы.

И только одинъ Миша застѣнчиво вышелъ впередъ...

— Ты?!—и Жоржинька окинулъ моего братишку совершенно уничтожающимъ взглядомъ:

— Ахъ, ты этакій клопъ!.. Ну, давай, давай... Я тебя однимъ перстомъ припечатаю... Ну, держись!..

Мы не знаемъ, какъ это произошло, но Миша легонько подмялъ великаго атлета и легонько положилъ на полъ, къ нашему общему изумленію.

Но болѣе другихъ былъ изумленъ побѣжденный: онъ продолжалъ лежать на лопаткахъ и, недоумѣнно хлопая глазами, вопрошающе поглядывалъ на насъ, точно спрашивая:

— Въ чемъ дѣло, господа?

.....
Ахъ, бѣдный Жоржъ. Онъ уѣхалъ потомъ къ себѣ на хуторъ, въ станицу Пластовскую и не показывался къ намъ долго...

А потомъ?..

Потомъ нашего бѣднаго Жоржиньку Тяпкина свезли въ психіатрическую лѣчебницу: у него развилась *mania grandiosa*.

Вылѣчить его не удалось, и теперь онъ величественно выступаетъ по городу въ красной мантии и выдаетъ себя за кардинала Ришелье.

Миръ твоему духу, гениальный скрипачъ, великій трагикъ и несокрушимый геркулесъ!

* * *

Въ заключеніе, моя мысль опять почтительно возносится къ тебѣ, великій кайзеръ.

Я вижу тебя, въ смятеніи бродящимъ по своему кабинету.

Время отъ времени, твой царственный взоръ приковывается къ одному опредѣленному мѣсту.

Мы, однако, ошибемся, если рѣшимъ, что ты любовно смотришь на модели пушекъ, модели блиндированныхъ автомобилей.

Мы такъ же ошибаемся, если подумаемъ, что ты радостно взираешь на висящій въ почетномъ углу бронированный кулакъ — символъ твоей высокой власти.

Нѣтъ, ты смятенно поглядываешь на небольшой портретъ безусаго человѣка въ сѣромъ сюртукѣ и треуголкѣ.

Ты иногда останавливаешься передъ этимъ портретомъ и долго и пристально смотришь на него и недоумѣнно пожимаешь плечами.

И думаешь ты, великій кайзеръ:

— *Donner vetter!* Какой-то плюгавый корсиканецъ, родомъ изъ Корсики, находящейся рядомъ съ Сардиніей, въ которой, надо полагать, нестерпимо пахнетъ сардинками. Маленькій чело-вѣчишко, съ брюшкомъ и бритыми усами, какъ у добраго нѣмецкаго кельнера. Не парижанинъ, глухой провинціалъ, мизерабельный. И вдругъ:

Наполеонъ!

— А я, всемогущій кайзеръ объединенной Германіи, гроза Европы, создатель культа бронированнаго кулака и тѣмъ не менѣе:

Не Наполеонъ!

— Невѣроятно, но фактъ!.. Изумительный фактъ!

Рѣшительными шагами ты подходишь къ зеркалу и, воинственно звякнувъ шпорами, обзрѣваешь себя, великій кайзеръ.

Этотъ орлиный взглядъ! Эта грудь колесомъ! И эти, Боже мой—эти усы—гордость всей Германіи!..

А рядомъ: сѣрый сюртукъ, треуголка и бритое лицо, какъ у берлинскаго кельнера!..

— *Donner vetter!*..

Ахъ, твой царственный покой отравленъ мыслью о корси-канцѣ!..

И долго, и мрачно бродишь по кабинету, бряцая саблей.

Долго и мрачно кусаешь холеные ногти...

Но... великій кайзеръ всегда будетъ великимъ Кайзеромъ!

Довольно малодушія! Смѣло впередъ!

И, воинственно топнувъ ногой, ты созываешь придворныхъ и министровъ и, окинувъ ихъ орлинымъ взглядомъ, изрекаешь:

— Совершенно безповоротно желаю быть Наполеономъ! Да, Наполеономъ! А вы знаете мое правило: *sic volo, sic iubeo!* (Плохіе классики это переводятъ: «такъ желаетъ моя лѣвая пятка»).

Придворные и министры почтительно склонили головы.

А ты, великій кайзеръ, воинственно обнаживъ шпагу, отдашь первый приказъ:

— Наводнить нашими легіонами сперва Европу и Азію...

А тамъ дальше... Дальше посмотримъ!..

Придворные и министры радостно воскликнули: «Hoh!».

И, смиренно удалились зажигать пожаръ Европы.

Ахъ, великій кайзеръ, три дороги тебѣ уготованы судьбой.

Первая дорога: занять въ исторіи почетное мѣсто въ пріятномъ сосѣдствѣ съ Александромъ Македонскимъ и Наполеономъ Бонапартомъ.

Вторая дорога: подобно другу моей юности Жоржу Тяпкину, облачиться въ красную мантию и ходить по Fridrichstrasse, избражая кардинала Ришелье.

Третья дорога...

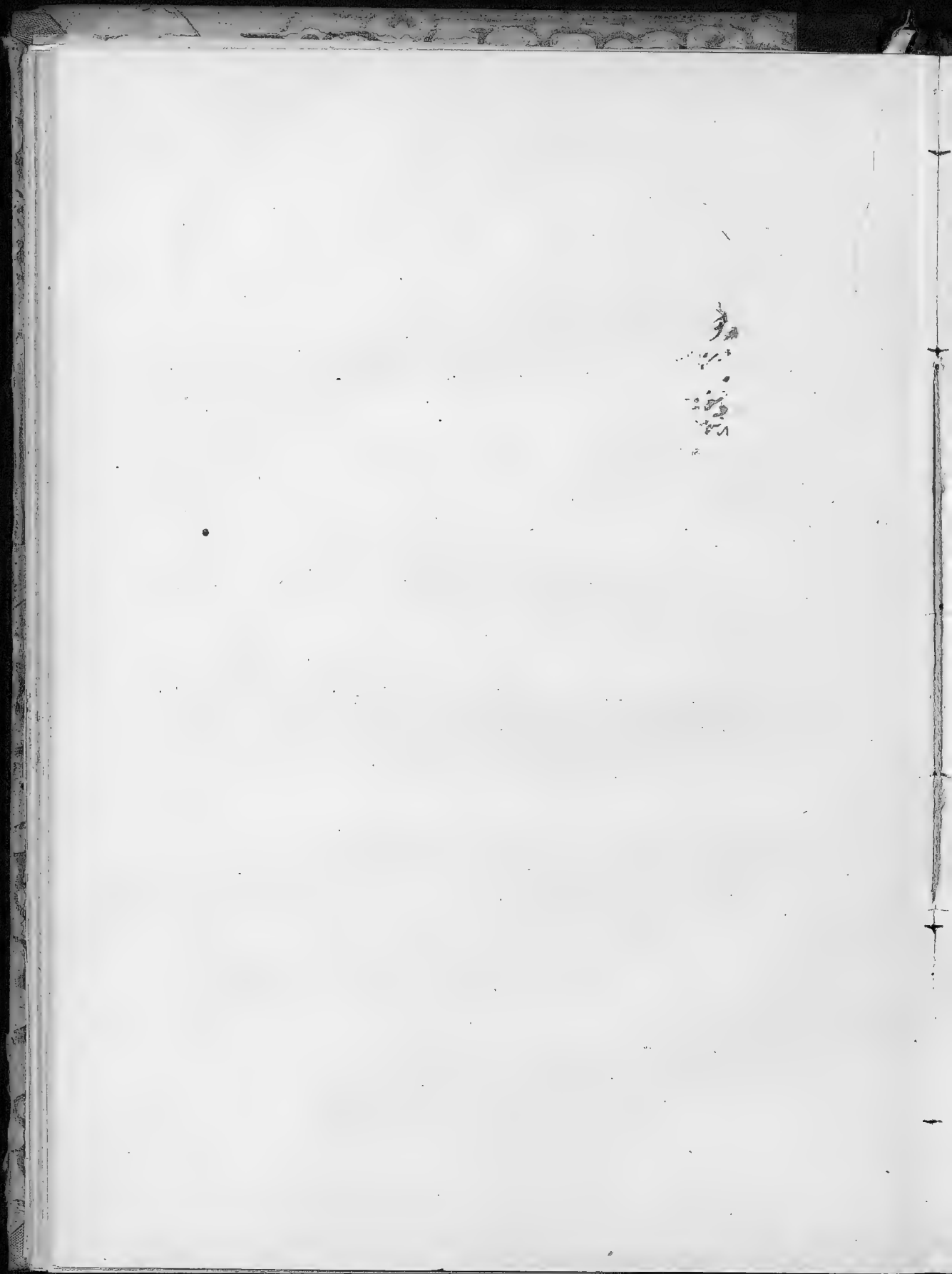
Впрочемъ, о третьей дорогѣ весьма не плохо сказано у Теренція:

Ad restim res rediit... *)

Какой дорогой ты пойдешь, великій кайзеръ?

Какой дорогой пойдешь ты, всему міру бросившій желѣзную перчатку!..

*) Дѣло дошло до веревки.



СЕРГѢЙ ГОРОДЕЦКІЙ

ЯВЛЕНІЕ НАРОДА.

1.

Незабываемыя ночи,
Незабываемые дни!
Воюеть воинъ, жрецъ пророчить,
Поэтъ поеть, какъ искони.

2.

Спускался вечеръ изумрудный,
Заря сіяла, словно стягъ.
Съ горы гранитной всадникъ чудный,
Заслышавъ, какъ притихнуль врагъ,
Взлеталъ грознѣй и величавѣй
Надъ гнѣвнымъ рокотомъ рѣки
И къ лучезарной ратной-славѣ
Сзывалъ російскіе полки.

3.

Еще германцы мечъ свой жадный
 Не обнажали противъ насъ;
 Еще войны пожаръ громадный
 Не разгорѣлся въ этотъ часъ;
 Но Бѣлградъ мирный, Бѣлградъ смѣлый
 Ужъ содрогался отъ гранатъ,
 И русской правды Ангелъ бѣлый
 Негодованьемъ былъ объятъ.

4.

Тиха Россія и смиренна,
 Въ молитвахъ трудится она,
 Но отъ обиды дерзновенной
 Она встаетъ, какъ Богъ, грозна,
 Она идетъ за правду Божью,
 Неодолима и строга,
 Чтобъ, побѣдивъ, къ Его подножью
 Сложить оружіе врага.

5.

И дрогнулъ городъ величавый,
 Толпа стремилась за толпой
 Рѣкою вешней, буйной лавой,—
 Зовя враговъ своихъ на бой!
 Восторгъ любви владѣлъ сердцами,
 Свѣтилась молнія въ глазахъ,
 И флагъ сверкалъ тремя цвѣтами
 На изумрудныхъ небесахъ.

6.

Заря смотрѣла долгимъ взглядомъ,
 Ея кровавый лучъ не гасъ..
 Нашъ Петербургъ сталъ Петроградомъ
 Въ незабываемый тотъ часъ.

ВАС. ИВ. НЕМИРОВИЧЪ-ДАНЧЕНКО.

СЛОВО НИБЕЛУНГА.

I.

Въ горныхъ уздахъ въ сторонѣ у Чатальджи точно все притаилось, припало къ землѣ.

Лежа на отсырѣвшемъ за ночь гребнѣ голой вершины, я внимательно всматривался въ туманную даль. Нельзя было ничего нащупать въ ней цейсовскимъ биноклемъ. Казалось, на нѣсколько верстъ кругомъ ничье движеніе не нарушало мертваго покоя. Только по скатамъ—едва выступали окутанные мглой трупы. Когда легкій вѣтерокъ шевельнулъ сѣрую завѣсу мглы—ихъ особенно много намѣтилось у рѣчки внизу. Какъ будто они кинулись къ ея медлительнымъ водамъ, и цѣлые часы пьютъ и напиться не могутъ. Струи пѣнились у неподвижныхъ лицъ и бритыхъ затылковъ. Вонъ одинъ еще живъ—шевелится. Богъ знаетъ, въ который разъ приподнимается на локтяхъ и опять падаетъ. У раздробленныхъ ногъ черныя пятна. Жадно сосетъ земля пролитую кровь!.. Къ нѣкоторымъ «безмолвнымъ свидѣтелямъ» опустились точно черныя комки... Въ нихъ движеніе... Они порою раскидываютъ черныя крылья, тяжело и грузно поднимаются въ влажномъ воздухѣ и также тяжело и грузно опускаются рядомъ сытые. Подъ утро мы слышали ихъ торжествующее карканье. Зловѣщее, радостное. Точно они сзывали такихъ

же на обильную трапезу и въ холодной мути едва-едва различались слетѣвшіяся отовсюду темныя стаи.

Вонъ брошенная турецкая деревня...

Бѣлая тонкая свѣчка минарета съ тусклымъ огонькомъ полумѣсяца. Черепицы кровель съ зіяющими черными провалами. Вчера туда падали гранаты и кое-гдѣ изнутри курится дымокъ. Горитъ оставленная хозяевами рухлядь. Большой домъ, обуглившійся и черный, зіуетъ пустыми впадинами... Еще дальше костры. Едва мерещутся. Тамъ стоитъ болгарская рота, выбившая турокъ отсюда... Заночевала на взятой съ боя непріятельской батарее. Ея сѣрыя насыпи, въ амбразуры которыхъ смотрять сюда черныя зѣвы орудій — сейчасъ уже точно выплыли изъ однообразнаго марева. Должно бты, вѣтеръ на нихъ. Мало-помалу опредѣляются въ безнадежной дали.

II.

И была же схватка!

Пока добрались до турецкихъ орудій, то и дѣло бросавшихъ голубые снопы огня, — пришлось брать каждое жилье боемъ. Деревня молчала, пока мы подходили къ ней. Казалось, все тамъ вымерло. Въ темныхъ впадинахъ оконъ — не мелькало ничего. По улицамъ метались только ополумѣвшія собаки, да надъ самымъ куполомъ, точно придавившимъ низенькую мечеть, съ визгомъ неслись навстрѣчу намъ шрапнели. Казалось, большіе стальные хлысты разсѣкаютъ воздухъ, вскидывались и разрывались, окутываясь сѣрымъ дымкомъ, стаканы. Съ злымъ змѣинымъ шорохомъ сыпалась картечь... А еще дальше ахало что-то громадное, скрытое, невидимое и оттуда дрожа низали пространство громадные снаряды. Незамѣтная, хорошо прикрытая, батарея работала великолѣпно. Гранаты ложились въ наши резервы и скоро нащупали длинныя разбросанныя цѣпи наступленія.

— Тамъ, должно быть, нѣмецкій командиръ, — замѣтилъ рядомъ со мною офицеръ.

— Почему?

— Туркамъ такъ не пристрѣляться.

Онъ только что окончилъ военное училище въ Россіи и вернулся на родину прямо въ бой. Весь былъ полонъ восторженными впечатлѣніями и о нашемъ отечествѣ говорилъ съ любовью преданнаго сына...

— Кончится война — буду готовиться въ Николаевскую академію генеральнаго штаба. Вы знаете: у меня осталась въ Москвѣ невѣста. Еще вчера я получилъ отъ нея письмо. Лежало въ штабахъ два мѣсяца... И карточка... Ахъ, какая она! Сейчасъ покажу вамъ—вся золотая... Какъ снопы зрѣлой пшеницы. А глаза у нея—добрые, чистые, святое небо. Мы рѣшили вѣнчаться, какъ только вернусь отсюда. Какъ плакала, провожая. Ну, да теперь, слава Богу, скоро...

И точно сръзало... Я только и помню внезапную тучу грязи и дыма, грохотъ и ревъ. Мгновенно окутала насъ тьма и, когда она разсѣялась, у моихъ ногъ лежалъ молодой офицеръ, распластавшійся руками впередъ. Полчерепа было у него снесено, и оттуда, точно изъ опрокинутой чаши, ползло бѣлое и красное, дымясь въ холодный воздухъ...

III.

Деревня—будь она проклята—точно ожила, когда мы подошли къ ней. Изъ всѣхъ черныхъ впадинъ ея домовъ, изъ-за глиняныхъ заборовъ, съ черепичныхъ кровель, съ галлерей на минаретѣ — затрещали тысячи выстрѣловъ въ упоръ. Засѣвшіе сюда турки защищали каждую пядь земли, каждый шагъ свой. Великолѣпные солдаты вообще — они дрались львами. Разстрѣливая патроны, бросались «на ножъ» болгаръ. Насъ, было, откинуло прочь—но слышался стихійный ревъ, разомъ рванувшихся впередъ дружинъ и точно море живыхъ тѣлъ забились вокругъ каждого жилья. Падали одни, на ихъ мѣсто становились другіе. Разстрѣливая непріятеля въ крышѣ (въ дому), трескучими дѣсенками бросались и ползли на кровлю и тамъ схватившись—падали на подставленные ножи внизу. Было ужасное, беспощадное, молчаливое. Наступалъ моментъ, когда освирѣпѣвшій сол-

дать не знает милости—бьетъ все живое, что подвертывается подъ размахнувшуюся руку. Занесеннаго удара—ни остановить, ни заслонить. Что подъ нимъ—женщина или старикъ, озленный, обманутый западнею боецъ не видитъ и не слышитъ. Черезъ минуту, двѣ, три — онъ самъ будетъ въ ужасѣ отъ совершеннаго имъ — и сейчасъ, на мѣстѣ въ немъ только гнѣвъ и ненависть, мстительная радость отплаты за павшихъ товарищей, одурь внезапно со дна души поднявшихся воспоминаній о томъ, что дѣлалъ недавно палачъ его народа въ селѣ, въ семьѣ. Все что, казалось, забыто и спало въ ослабѣвшей памяти давно освободившагося народа — оборачивается опять живою, опьяняющею явлю. Тутъ нельзя винить людей, можно только объяснять ихъ. Тутъ не человѣкъ владѣетъ волей, а воля человѣкомъ. Онъ ея послушное орудіе... И всѣ народныя войны таковы.. Точно изъ-за гроба сотни замученныхъ предковъ зовутъ — живого сына на кару, на возмездіе за всѣ муки отцовъ и дѣдовъ. Изъ кошмара пережитыхъ былей встаютъ призраки родныхъ, которыхъ сажали на полъ на площади Сераскеріата въ Стамбулѣ, сжигали передъ конками въ своихъ городахъ, вѣшали по пути у колодезь, замучивали въ Діарбекирской ссылкѣ..

Помните знаменитую картину, гдѣ тѣни павшихъ съ злобно раскрытыми ртами и неумолимо протянутыми впередъ руками несутся надъ бойцами и неудержимо, невидимо даютъ ихъ на побѣжденнаго врага? Неотомщенныя, непримиренныя тѣни!

Въ такія минуты вѣришь сказкѣ, какъ яви..

IV.

Я самъ не отдаю себѣ отчета, какъ послѣ этой истребленной нами деревни мы захватили турецкую батарею. Накатились, какъ накатывается зеленый, оперенный бѣлыми гребнями, океанскій валъ, котораго ничѣмъ не остановишь, пока онъ самъ не разобьется о каменные твердыни береговыхъ утесовъ. Залили ее бушующими водами и когда пришли въ себя и оглядѣлись, кругомъ лежали у брустверовъ убитые артиллеристы, вдали бѣ-

жало, уходя въ ущелье, прикрытіе... Жадно вытянутыя жерла орудій, ящики со снарядами и вездѣ еще дымящіяся лужи крови...

Боевое одушевленіе стихало.

Люди падали, гдѣ стояли.

Усталъ брала свое. Пока ее не чувствовали въ жару этого боя. Теперь она подкашивала ноги и смыкала руки. Многіе легли лицомъ въ землю, на скрещенные локти, и спали. Пахло табакомъ, у кого хватало силы — тотъ закуривалъ трубки. Нашли воду — и припадали къ ней. Тяжело дышали, тупо оглядываясь и точно самихъ себя спрашивая, какъ они совершили все это?

И вдругъ... Именно вдругъ!

Въ брустверѣ открыли лазейку. — Она вела въ какую то ячейку, выкопанную въ твердомъ грунтѣ, и оттуда на свѣтъ выволокли турецкаго офицера. Высокій, тонкій, жилистый, безцвѣтные глаза, рыжіе встопорощенные усы... И высокомеріе, и страхъ переплетаются во что-то несуразное. Какъ испуганная собака, и зубы скалить — грозится и хвостъ поджимаетъ — трусить.

Разспросили, оказался — командиръ батареи, По-турецки говорить скверно.

— Вы, очевидно, не турокъ?

— Нѣтъ. Я нѣмецкій офицеръ, баронъ фонъ-Гервергъ.

Предложили ему папиросъ. Отказался. Вынулъ свои сигары, никому не предложилъ.

— Куда его дѣвать? — спросилъ капитанъ Бойчевъ.

— Некуда. Придется съ нами таскать, пока не дойдемъ до штаба.

— А гдѣ его искать, штаба?..

Подумали-подумали.

— Баронъ, даете слово офицера не пробовать бѣжать?

Тотъ оторопѣлъ, заморгалъ бѣлыми рѣсницами. Весь точно налился кровью.

— Подъ честнымъ словомъ вы у насъ будете свободны.

Глаза у барона сверкнули стальнымъ блескомъ. Онъ выпятилъ грудь.

— О, даю... даю... даю. Слово нѣмецкаго дворянина и офицера!

— Тогда вы пока нашъ гость. Сейчасъ подъѣдетъ ротная кухня.—Вы не откажетесь пообѣдать съ нами? Простите, кромѣ чорбы и мяса съ капустой у насъ ничего нѣтъ. Не хотите ли коньяку?

Баронъ не отказался и не только не отказался, но попросилъ еще.

— Холодно... Я продрогъ.

Оказался веселый малый. Офицеру, воспитывавшемуся въ Вѣнѣ, рассказывалъ веселые анекдоты, вспоминалъ легкомысленныхъ швабокъ, сошелся съ нимъ на короткую ногу и выпилъ весь его коньякъ. Ночью, какъ самый сердечный другъ — легъ съ нимъ рядомъ, перетянувъ на свою сторону его кожанъ. Болгаринъ съежился, но не ропталъ:

— Что дѣлать—гость!..

И самъ заснулъ, какъ убитый.

Народъ здоровый, его ничѣмъ не удивишь!

Ночью мы просыпались... Гдѣ-то далеко-далеко стрѣляли.

Сырой туманъ точно глоталъ эти выстрѣлы. Ни эха въ горахъ, ни раскатовъ въ ущельяхъ.

Въ долинѣ внизу тускло мерещились костры. Неспавшіе солдаты кричали пѣтухами. Около смѣялись: напоминало родныя села. Прожекторъ съ Караколь-Нохта нѣтъ-нѣтъ да и нащупывалъ насъ. Казалось, громадный, залегшій тамъ, звѣрь тянулся къ намъ своими свѣтящимися фосфорическими лапами... Подъ самое утро на югѣ слышались глухіе, сплошные звуки. Тамъ, стоявшій въ Мраморномъ морѣ, турецкій крейсеръ со слѣпу стрѣлялъ по узкой долинѣ Чатальджи, точно давалъ знать: я-де не сілю, бодрствую... Подъ утро мы всѣ продрогли. Едва-едва выползли изъ подъ шинелей и скорѣе къ кострамъ. Хоть на минуту согрѣться...

— Эко, Станевъ спитъ! Что значить молодость! Завернулся съ головой.

— Пора будить его.

— И нѣмецкаго барона кстати...

Пошли туда.

— Станевъ!..

И не шевельнулся...

Стащили съ него пальто—и отшатнулись...

Подъ нимъ лужа крови. Горло перерѣзано. Глаза широко открыты. Выраженіе ужаса замерло въ нихъ.—

Кожанъ пропалъ вмѣстѣ съ нѣмецкимъ барономъ... Подъ горой стояли лошади... Лучшей не оказалось... Двѣ другія лежали на землѣ приколотыя... Одна еще подергивала задними ногами...

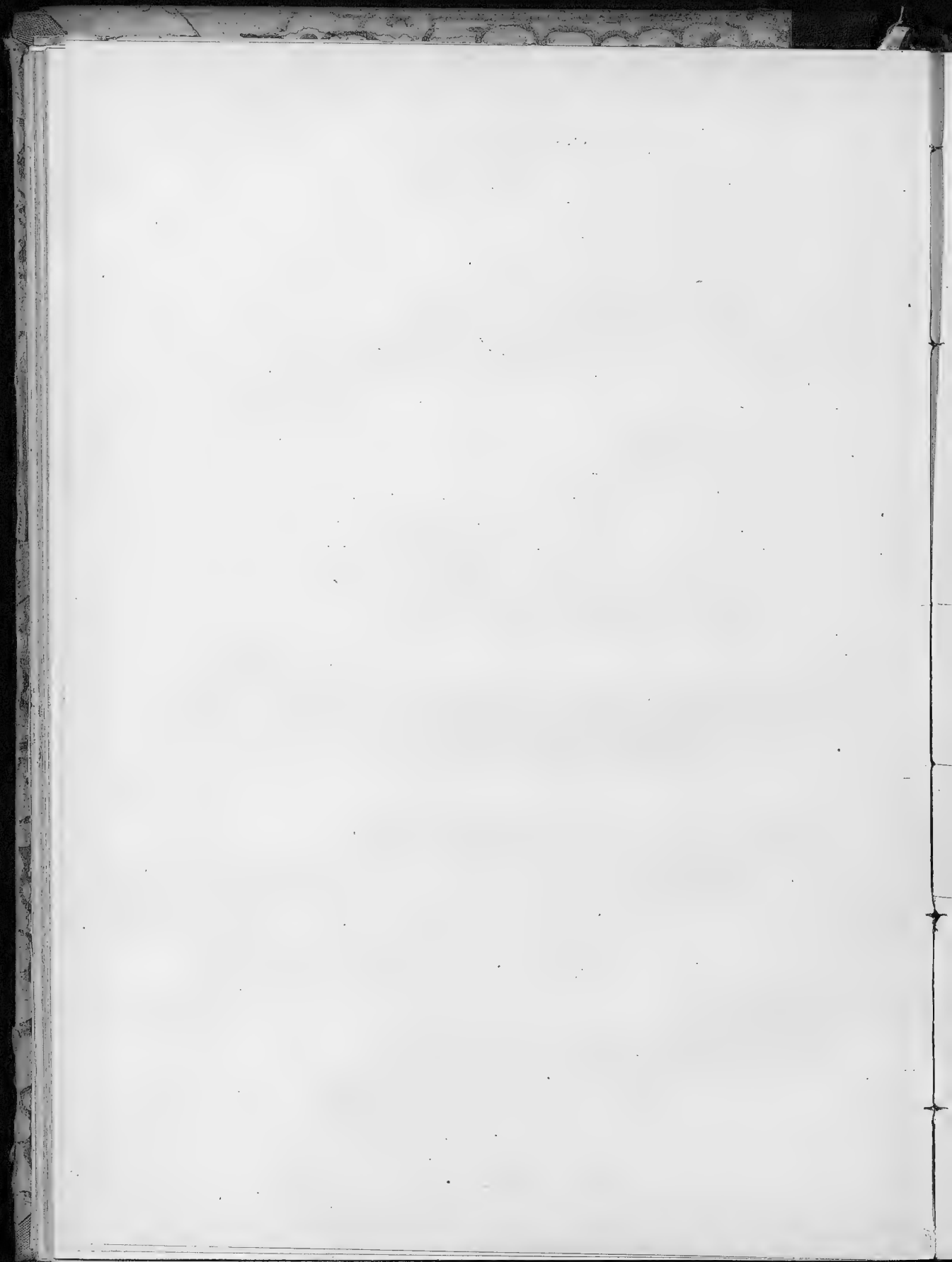
Засуетились...

— Какъ онъ могъ уйти?..

— Негодай, негодай!.. Вотъ вамъ слово нѣмецкаго офицера!

— Еще бы не уйти. Кожанъ съ нашими погонами...

— И зарѣзать человѣка, подѣлившагося съ нимъ послѣднимъ!..



АЛЕКСАНДРЪ РОСЛАВЛЕВЪ.

ВИЛЬГЕЛЬМУ.

Въ угоду суетной гордыни,
Ты съ самовластной похвальбой,
Извлекъ свой мечъ и міру нынѣ
Грозишь яремною судьбой.

Взыграла яростно стихія
Тобой подвигнутаго зла,
И многоскорбная Россія
Ударъ твой первый приняла.

Пусть такъ, но если суждено намъ
Нести войны кровавый трудъ,
Знай, съ каждымъ плачемъ, съ каждымъ
стономъ
Нашъ надъ тобой суровѣй судъ.

Его бѣжалъ въ стыдѣ великомъ
Одинъ безумецъ роковой
И гдѣ-то тамъ, на брегѣ дикомъ,
Поникъ развѣнчанной главой.

— Склонись предъ вѣщею гробницей!
Иль дѣву Франціи безъ латъ,
Мнишь за своею колесницей
Вести, ликуя въ Петроградъ?

Въ ярмо, въ усильяхъ бесполезныхъ,
Тебѣ льва Англіи не впредъ
И нашъ орелъ въ когтяхъ желѣзныхъ
Сломасть твой тевтонскій мечъ!..

ТАНЪ.

ВИШНЕВЫЙ САДЪ.

Съ собою самимъ мнѣ не нужно было спорить. Ибо въ сердцѣ моемъ билось всегда живое, ревнивое чувство: Россія, это—наше, не по Малмыжъ, не по Чебоксары, какъ иронизировалъ когда-то Щедринъ-Салтыковъ, а вся какъ есть, шестая часть свѣта межъ четырехъ морей. Вся она назначена для насъ, для полутора ста милліоновъ, для сотни племенъ, для круга російскихъ народовъ. Великая Россія, размѣръ ея больше Америки. Orbis terrarum, растущій, широко намѣченный.

И по самому острому и близкому вопросу, теперь какъ и прежде, могу сказать со спокойною совѣстью:

Я чуждъ пріязни дѣдовъ узкой.
Пусть я еврей, я также русскій,
Родной Руси я вѣрный сынъ,
Отчизны честный гражданинъ.
Въ моей груди какъ будто дивомъ
Сплелись завѣты двухъ племенъ,
Смѣшались звуки двухъ именъ.
И грудь моя дрожить отзывомъ,
При словѣ родина.

Граждане послѣдняго разряда, паріи, подверженные «нормѣ», вы слышите?

Изъ Минска, и изъ Вильны, и изъ Слуцка, они отзываются: «слышимъ»!..

Я былъ всегда патріотомъ, согласно съ широкими массами. Помню, какую ненависть въ «безумномъ году», 1905-мъ, вызвали угрозы извѣстныхъ барынь нѣмецкаго типа, уѣзжавшихъ за границу и сулившихъ: «Вотъ явится кайзеръ Вильгельмъ. Онъ вамъ покажетъ».

Все это кончено разъ навсегда. Россія теперь не боится нѣмецкаго кайзера Вильгельма.

Однако, въ послѣдніе дни приходится спорить и утромъ и вечеромъ, съ друзьями, съ единомышленниками. Одни пріѣзжаютъ изъ Швеціи ограбленные нѣмцами, другіе выползаютъ потихоньку изъ своихъ уединенныхъ келій и спрашиваютъ удивленно:

«Что это дѣлалось тутъ у васъ на улицѣ?».

Качаютъ головой и упрекаютъ: «Вы, стало-быть, забыли минувшія обиды и раны... Ходите по улицамъ, губы сложили, трубочкой, поете».

И мы имъ отвѣчаемъ: «Ничего мы не забыли. Но въ эту минуту, дѣйствительно, помнимъ одно: отечество въ опасности. Врагъ на границахъ».

Наша Россія для насъ. Чужихъ намъ не надо. Будемъ мириться и ссориться сами, одни, безъ посредниковъ.

Лучше родимые камни, чѣмъ чужестранные люди.

Наша Россія для насъ. Въ Россіи намъ негдѣ жить. Мы задыхаемся безъ русскаго простора, безъ нашего нелѣпаго, милаго, беспорядочнаго быта, бозъ этого «Вишневаго Сада», вырубленнаго сверху и снизу, дающаго все новые побѣги.

Не дадимъ чужеземцу насильнику нашего «Вишневаго Сада», Ни пяти, ни дюйма. Умремъ — не уступимъ.

Ибо всѣ мы живемъ по тому же укладу, русскіе славяне и также иногородцы. По физическимъ привычкамъ и матеріальному быту и духовнымъ порывамъ всѣ мы подобны другъ дру-

гу. Въ легковѣріи и въ слабости, въ надеждахъ и готовности на подвигъ сливаемся вмѣстѣ.

Вы говорите: «шовинисты». Но, вѣдь, нашъ шовинизмъ какого-то новаго типа. Это не грубый нѣмецкій гакатизмъ, который стремится насильно сдѣлать поляка пруссакомъ, а жмудина нѣмцемъ. Въ нашемъ порывѣ сошлись воедино поляки и балтійскіе нѣмцы, литовцы, евреи,* армяне, татары и сотни другихъ. Съ русскимъ народомъ сошлись воедино російскіе народы.

Это все та же новая растущая Россія. Только вы ее не узнали.

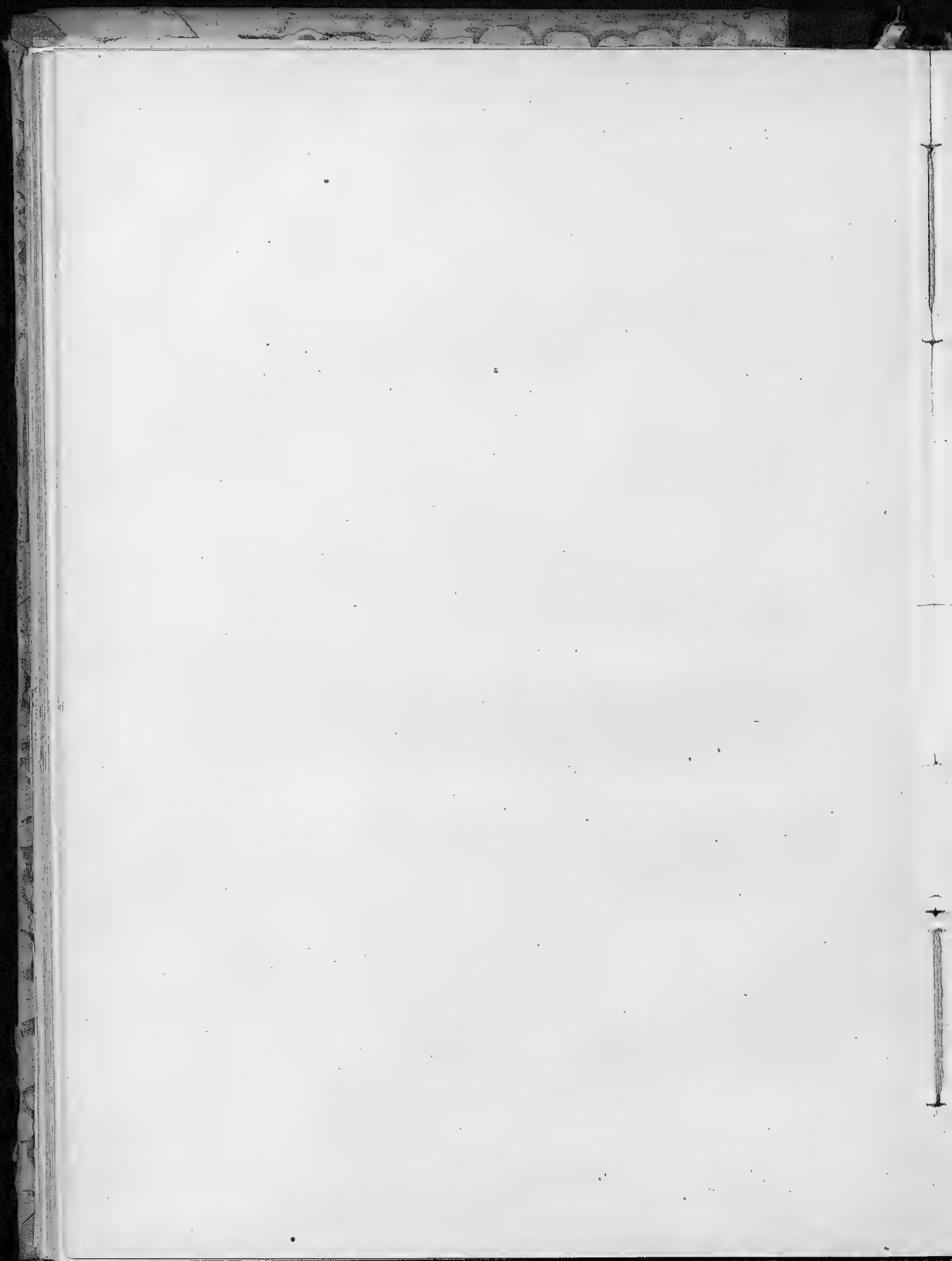
Десятилѣтіе назадъ, во время великаго сдвига всѣ племена Россіи внезапно проснулись. Помню, писали о ятвягахъ, о которыхъ и въ лѣтописяхъ упоминалось въ послѣдній разъ еще при Василии Темномъ.

Но я убѣжденъ, что остатки ятвяговъ, если они дѣйствительно существуютъ, готовы въ настоящую минуту вмѣстѣ съ другими взяться за вилы и встрѣтить незваныхъ гостей.

Я видѣлъ на улицахъ великій народъ, объятый стихійнымъ порывомъ. Вѣрю въ него. Сердце мое бьется въ унисонъ съ его многомилліоннымъ, коллективнымъ сердцемъ.

Новая Россія не хочетъ, чтобъ ее и сѣкли и били, и плевали ей въ лицо, кто бы то ни было, хотя бы культурные нѣмцы.

Клянусь дышать и жить тобой,
И каждый сердца трепеть жаркій,
И каждой мысли проблескъ яркій,
Отдать тебѣ, тебѣ одной...



БУКВА.

ВИЛЬГЕЛЬМЪ II.

Онъ кончилъ,—не первымъ,—гимназію въ Касселѣ, но не дослушалъ полного курса юридическихъ и государственныхъ наукъ и покинулъ университетъ въ Боннѣ только послѣ двухлѣтняго въ немъ пребыванія. Онъ много и успѣшно работалъ затѣмъ надъ военными науками, особенно интересуясь военною исторіею и даннымъ сравнительнымъ состояніемъ вооруженныхъ силъ на континентѣ. Кронпринцъ выдержалъ и выпускной экзаменъ въ академіи генеральнаго штаба. Заслуживаетъ вниманія слѣдующій фактъ. Диссертация его была посвящена воображаемой войнѣ Германіи съ Россіей и кончалась разгромомъ Россіи, потерявшей Царство Польское, Прибалтійскій край и выплатившей 5 милліардовъ контрибуціи.

Извѣстно было, что природа надѣлила Вильгельма выдающимися способностями. Она дала ему большой умъ, ясный, положительный, твердый, замѣчательную память, заполнившую его голову энциклопедически-богатымъ и разностороннимъ матеріаломъ, дала живое и яркое воображеніе, острое критическое чутье, художественный инстинктъ и безспорный ораторскій талантъ. Умъ его былъ чисто-нѣмецкаго склада и закала: холодный и безкрылый, систематическій и логическій, воспріимчивый и осматрительный. Воображеніе всегда вращалось только въ

кругу реальных предметов, явлений и темъ. Особенно охотно и легко оно расцвѣчивало для молодого принца вопросы о международномъ первенствѣ въ Европѣ германскаго міра, о первыхъ выступленіяхъ его на политической аренѣ, о блескѣ и побѣдахъ будущей и своеобразной и неожиданной, искусной и смѣлой нѣмецкой политики, о неустанномъ совершенствованіи нѣмецкой арміи, о возможности въ Германіи сближенія, а, можетъ быть, даже и компромисса, между государственнымъ починомъ, вмѣшательствомъ и запросомъ социальнаго и экономическаго быта и пр. Художественные позывы Вильгельма проявлялись въ живописи, въ музыкѣ, даже въ поэзіи. Ему удавались иногда незначительныя акварели, рисунки карандашемъ, перомъ, тушью. Музыкальныя влеченія и затѣи молодого императора создали впоследствии даже цѣлую оперу, хотя и прикрытую псевдонимомъ. Она оказалась, впрочемъ, недолговѣчною. Потерпѣло фіаско и императорское стихотворство. Оно было насыщеннымъ и деревяннымъ. Зато выгодно для Вильгельма опредѣлилось его краснорѣчіе. Особенно въ первые годы его царствованія оно производило не только у нѣмцевъ и на нѣмцевъ, но и во всей Европѣ большіе эффекты. Публичное слово германскаго императора плавно, иногда красиво и оригинально. Иногда въ немъ слышались и новыя нотки—новые окрики или отклики. Увлеченіе краснорѣчіемъ дѣлало Вильгельма даже духовнымъ проповѣдникомъ,—только передъ его военною паствою, впрочемъ.

Извѣстно было кое-что и о характерѣ молодого монарха. Въ немъ было много, очень много для конституціоннаго государя, даже слишкомъ много воли,—воли какъ двигателя, какъ усмотрѣнія и какъ дѣйствія. Это былъ характеръ властный, повелѣвающій, упорный и рѣшительный. Къ нему довольно близко подходилъ девизъ французскаго короля-абсолютиста: «Государство, это—я». Характеръ суровый, злопамятный, сокрушительный для противниковъ и высокомерный даже и для наиболѣе ему преданныхъ людей. Натура—самопротивоположная, архаическая и современная: искренно и глубоко вѣрующая въ

божественность своего призванія и въ то же время вполнѣ буржуазная, очень скромная по своимъ частнымъ, домашнимъ нравамъ, привычкамъ, вкусамъ. Человѣкъ—нервный и крайне самолюбивый, жадный до впечатлѣній, до ихъ игры и постоянной переменѣ, —любитель природы, воздуха, моря, путешествій, спорта. Нервность очень сильная, —императоръ не владѣлъ ею, и она часто брала перевѣсъ надъ его самообладаніемъ и уравновѣшенностью.

Со своими государственными взглядами, принципами и стремленіями, самъ императоръ очень охотно знакомилъ нѣмцевъ. Они были очевидны: лихорадочная жажда дѣятельности, страсть говорить обо всемъ, при всякомъ случаѣ, безпокойство мысли, преслѣдуемой маніей величія, искренне театральное позерство, смѣсь абсолютизма съ модернизмомъ, желаніе удивлять міръ неожиданными рѣчами и дѣйствіями. Онъ посвятилъ выясненію своего міросозерцанія десятки своихъ политическихъ рѣчей, обращеній и посланій. Онъ—сторонникъ возможно полной, наименѣе ограниченной, обставленной наиболѣе широкими прерогативами монархической власти. Онъ получилъ ее отъ Бога и долженъ нести отвѣтственность за нее только передъ Богомъ. Эта отвѣтственность очень тяжелая, вся на чести и совѣсти основанная. Онъ, какъ императоръ, повелѣваетъ всѣмъ, но онъ и слуга всѣхъ,—слуга праведный и неподкупный, для всѣхъ равный и всегда къ добру готовый. Его будущая программа—возвеличивать и расширять Германію, вездѣ и во всемъ оберегать ея интересы блестящимъ состояніемъ ея арміи, охранять въ странѣ миръ и трудъ, правду и справедливость, облегчать нуждающимся массамъ населенія ихъ жизненные тяготы и незгоды, пытаться устранить изъ быта Германіи элементы и факторы «нездоровыхъ общественныхъ контрастовъ», блюсти за незыблемостью законовъ, всѣми средствами и мѣрами покровительствовать развитію производительныхъ силъ страны, подбодрять энергію ея капитала, содѣйствовать приросту ея сбереженій и пр. Но прежде всего и послѣ всего онъ хочетъ сознавать, чувствовать и восклицать: «Deutschland, Deutschland über Alles!».

Эти свои общія положенія Вильгельмъ II въ послѣдствіи иллюстрировалъ и подтверждалъ въ своихъ рѣчахъ еще и своеобразными афоризмами. Нѣкоторые изъ нихъ нравились нѣмцамъ своей мѣткостью или свѣжестью. Вотъ для примѣра нѣсколько такихъ реченій, недурно характеризовавшихъ личность молодого императора.

«Еще подготавливая себя къ управленію нѣмецкимъ народомъ,—говорилъ Вильгельмъ однажды,—я долго размышлялъ надъ своимъ призваніемъ и пришелъ къ убѣжденію, что правитель страны долженъ умиротворять людей добромъ, не не обуздывать ихъ страхомъ». «Все несчастье сторонниковъ крупныхъ переворотовъ въ государственности и въ общественности въ томъ,—говорилъ императоръ въ другой разъ,—что они—отвлеченные теоретики. Если бы они должны были охранять властью то или иное благоустройство, они первые возстали бы противъ себя. Но какъ доказать имъ это? Не могу же я, чтобы убѣдить въ этомъ Бебеля, посадить на свой тронъ Бебеля». «При нынѣшнемъ положеніи Европы,—гласилъ третій афоризмъ,—тотъ, кто первый нарушилъ бы миръ, понесъ бы за это жестокое наказаніе».

Но въ одномъ изъ дальнѣйшихъ афоризмовъ слышался уже совсѣмъ другой челоѣкъ. «Мы, нѣмцы,—воинственно восклицалъ ихъ молодой повелитель,—всегда, вездѣ должны помнить, что лучше пусть погибнутъ всѣ наши 18 корпусовъ, лучше пусть исчезнутъ всѣ 42 милліона нѣмецкаго народа, чѣмъ отдать кому бы то ни было хотя бы частицу нашей наслѣдственной или завоеванной нами территоріи!». Въ другой разъ онъ, обращаясь къ какой-то военной депутаціи, говорилъ: «Я принадлежу арміи, армія принадлежитъ мнѣ, и мы составляемъ одно неразрывное цѣлое». Отношеніе свое къ германской оппозиціи онъ установилъ слѣдующей откровенной угрозой: «Я не постѣсняюсь сокрушить тѣхъ, кто будетъ мѣшать мнѣ въ моей государственной работѣ». По отношенію къ рабочему вопросу, Вильгельмъ II объявилъ, что онъ «вполнѣ раздѣляетъ взгляды и принципы папы Льва XIII». Мистикъ и художникъ сказывался въ немъ,

когда онъ взывалъ, обращаясь къ берлинцамъ: «Стройте церкви, стройте! Мало церквей, мало благочестія, мало подъема духа и поэзіи въ нашемъ дорогомъ городѣ,—мало и мало всего этого!». Свой взглядъ на женскій вопросъ, онъ формулировалъ въ афоризмѣ, извѣстномъ подъ названіемъ «четырехъ К». «Женщина должна помнить, что ея права и обязанности,—наставлялъ молодой императоръ,—заключаются въ четырехъ К.: Kirche, Kinder, Kleider, Küche». Неутомимому работнику, какимъ былъ германскій императоръ, принадлежалъ и афоризмъ: «У меня слишкомъ мало времени, чтобы я разрѣшалъ себѣ чувствовать усталость».

Въ первые же годы своего царствованія, Вильгельмъ II обрисовалъ себя нѣсколькими характерными фактами. Прежде всего, онъ объѣхалъ почти всю Европу, дѣлая визиты коронованнымъ особамъ. Эта одиссея была хорошо задумана и принесла своему автору много пользы. Она установила для него въ Европѣ цѣлую сеть интимно-дружественныхъ связей и сближеній и обогатила молодого монарха очень цѣннымъ и важнымъ, добытымъ въ разныхъ столицахъ личными наблюденіями высокаго гостя, матеріаломъ. Расхоложеннымъ и не совсѣмъ довольнымъ вернулся Вильгельмъ II (въ августѣ 1890 г.) только изъ нашей Нарвы. Свиданіе его тамъ съ Императоромъ Александромъ III не могло предотвратить союзъ Россіи съ Франціей. Второй фактъ какъ громомъ поразилъ весь міръ. Онъ былъ совершенно неожиданнымъ и для всѣхъ необычайнымъ. Случилось нѣчто для нѣмцевъ даже неправдоподобное. Вильгельмъ II однимъ толчкомъ свалилъ съ ногъ Бисмарка. Молодой ученикъ и недавній восторженный почитатель стараго, всеильнаго въ странѣ своими историческими заслугами и своимъ патріотическимъ обаяніемъ колосса, круто освободился отъ его давящей опеки и открылъ эру новѣйшей германской политики, уже вполнѣ за свой счетъ и страхъ имъ веденной. Этотъ поразительно-смѣлый ходъ,—шахъ и матъ имперскому канцлеру, неограниченно царствовавшему въ Германіи при императорѣ Вильгельмѣ I,—требовалъ огромной силы характера и воли и огромной самоувѣренности.

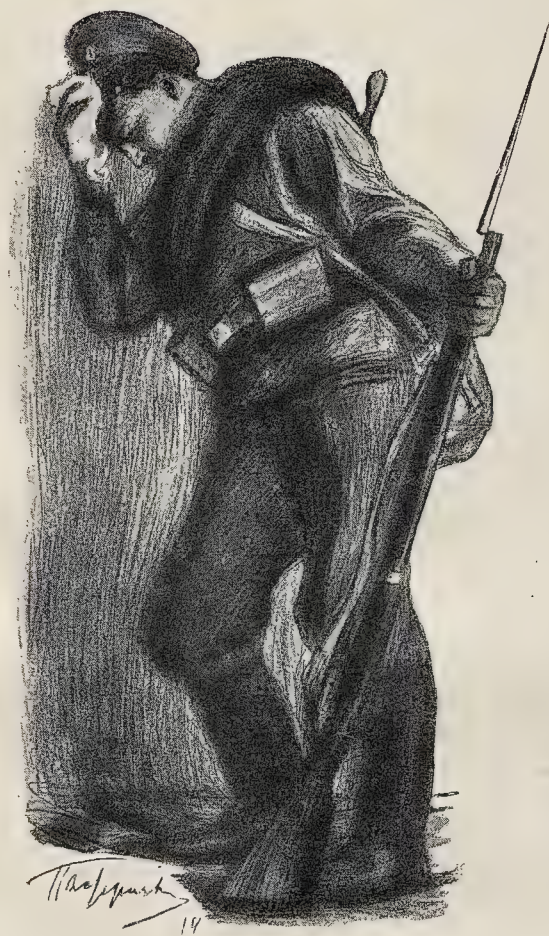
Онъ повергъ въ глубокое изумленіе и самого Бисмарка. И эта психологическая трагедія кончилась для всемогущаго божка Германіи почти фарсомъ. Новый повелитель его, желая утѣшить при отставкѣ творца Германской имперіи и дирижера всей Европы, наградила Бисмарка званіемъ фельдмаршала и нарекъ его герцогомъ Лауэнбургскимъ. Послѣ этого, неизвѣстно откуда взявшійся и неизвѣстно для чего объявившійся опереточно-куръезный герцогъ безъ герцогства, заживо и навсегда похоронилъ второго послѣ Наполеона въ XIX вѣкѣ всемірнаго прославленнаго мужа. Наконецъ третьимъ, вызвавшимъ большой эффектъ въ началѣ царствованія Вильгельма II фактомъ было созваніе имъ въ Берлинѣ подъ своимъ президентствомъ международной конференціи по рабочему вопросу. Она не пошла далѣе международныхъ пожеланій и блестящихъ банкетовъ съ либеральными рѣчами и не оставила послѣ себя ничего, кромѣ кипы газетныхъ, ей посвященныхъ, статей и корреспонденцій. Но она придала молодому монарху извѣстный шикъ государственнаго модернизма и дала ему возможность произнести для Европы и рабочихъ массъ Европы, нѣсколько рѣчей, интересныхъ и оригинальныхъ.

Такимъ выступилъ на поприще исторіи, Вильгельмъ II, — монархъ, судя по его дебютамъ, во всѣхъ отношеніяхъ незаурядный; консерваторъ, но и радикаль, пѣтистъ и милитаристъ, дипломатъ, морякъ и проповѣдникъ, композиторъ, художникъ и пламенный патріотъ, ораторъ и спортсменъ, наконецъ, добродѣтельный мужъ домовитой и скромной принцессы.

Двадцать пять лѣтъ прошло съ того времени. Срокъ для царствованія большой. Онъ все раскрылъ, уяснилъ, опредѣлилъ, установилъ, всему подвелъ итоги и изо всего извлекъ свою общающую мораль.

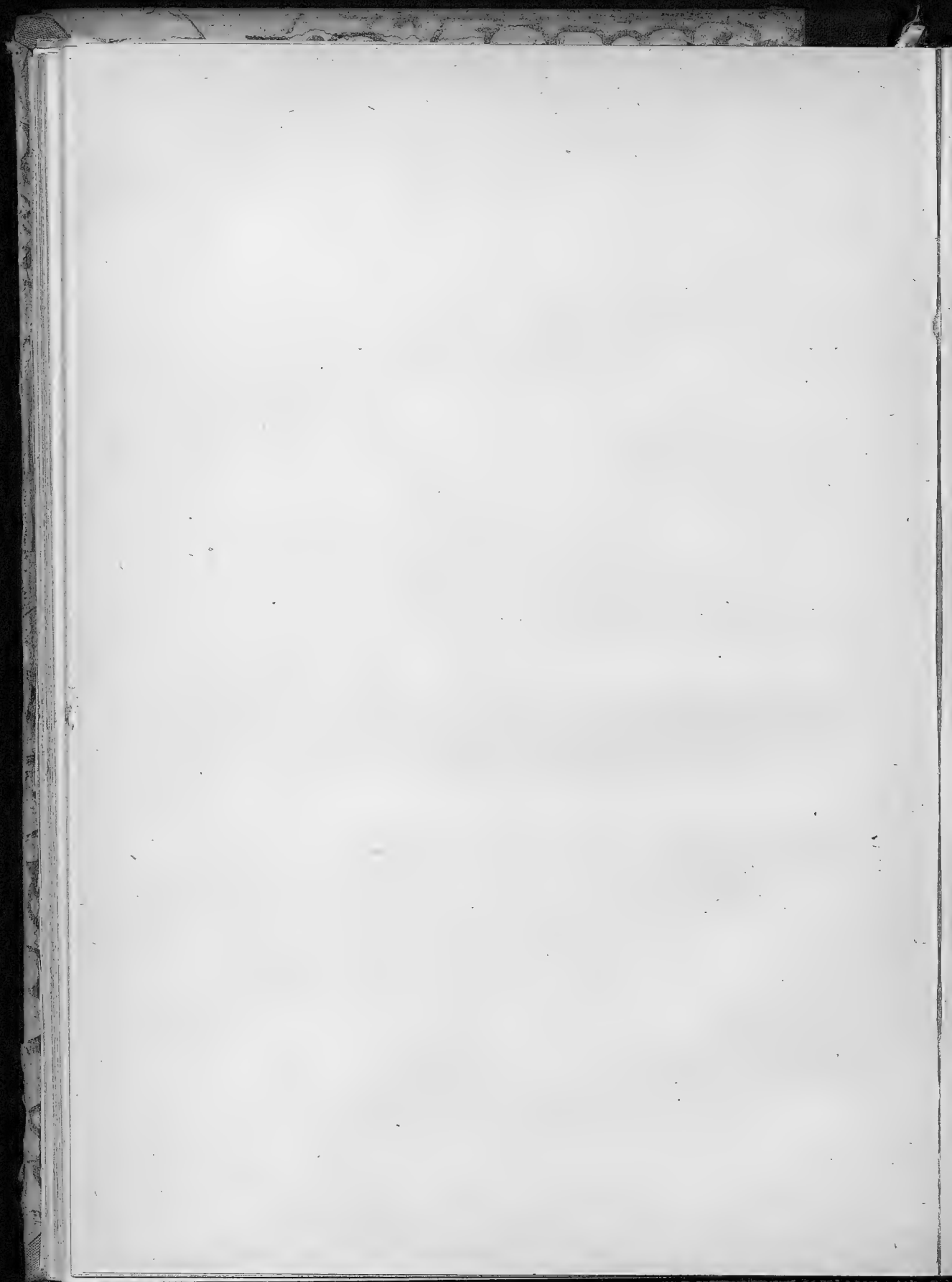
Нынѣшняго Вильгельма II уже отлично знаетъ и онъ самъ, и весь народъ его, и вся Европа.

Это очень властный, дѣятельный императоръ и король. Какъ глава государства, онъ относился къ исполненію своего долга



О. ПАСТЕРНАКЪ.

РАНЕНЫЙ.



съ постоянно ровнымъ напряженіемъ своего труда, усердія, заботъ и несеть его съ достоинствомъ. Внѣшняя политика имперіи стояла и стоитъ у него на виду и твердо. Ей принадлежала одна изъ первыхъ ролей въ международномъ общеніи и у нея былъ престижъ. Она съ большою энергіей охраняла интересы Германіи и нѣмцевъ. Общимъ курсомъ имперской внѣшней политики руководилъ самъ Вильгельмъ, и по его мысли, а также и по его настоянію, эта политика всюду, гдѣ только это возможно, гдѣ только была для этого почва и мало-мальски подходящія условія, шла рука объ руку съ видами, пользами, нуждами и выгодами нѣмецкой торговли и нѣмецкой вывозной промышленности. Нѣмецкій купецъ и фабрикантъ имѣли въ лицѣ императора своего протектора и посредника. Они обязаны ему открытіемъ для ихъ сбыта цѣлага ряда иностранныхъ рынковъ, частью въ Европѣ, но преимущественно на Востокѣ (Персіи, Турціи, Аравіи) и въ Африкѣ, нѣмецкой и не нѣмецкой. Другое, уже общегосударственное дѣло императора—созданіе германскаго военнаго флота. Это дѣло и задумано, и разработано, и налажено, и осуществлено непрерывными усиліями Вильгельма II. Оно выдвинуло Германію на морѣ на первенствующій планъ и позволило ей соперничать съ міровымъ могуществомъ британскаго флота. Немалую услугу оказало нѣмецкому эмиграціонному отливу и европейское культивированіе нѣмецкимъ правительствомъ германскихъ владѣній въ Африкѣ. Теперь тамъ уже быть, порядки, нравы, развлеченія, моды какого нибудь Ганновера или Аугсбурга.

Иначе сложилась и окрасилась внутренняя политика императора, какъ общегерманская, такъ и, особенно, прусская. Она вызывала и вызываетъ въ странѣ много нареканий и недовольства. Эта политика узкая, односторонняя, покорно обслуживающая личные интересы монарха и преимущества ближайше окружающаго его общественнаго слоя,—политика, рутины и застоя, политика дня вчерашняго, неохотно мирящагося съ сегодняшнимъ и еще менѣе охотно думающая о днѣ завтрашнемъ. Внѣ Пруссіи, въ другихъ нѣмецкихъ земляхъ она еще менѣе ощутительна.

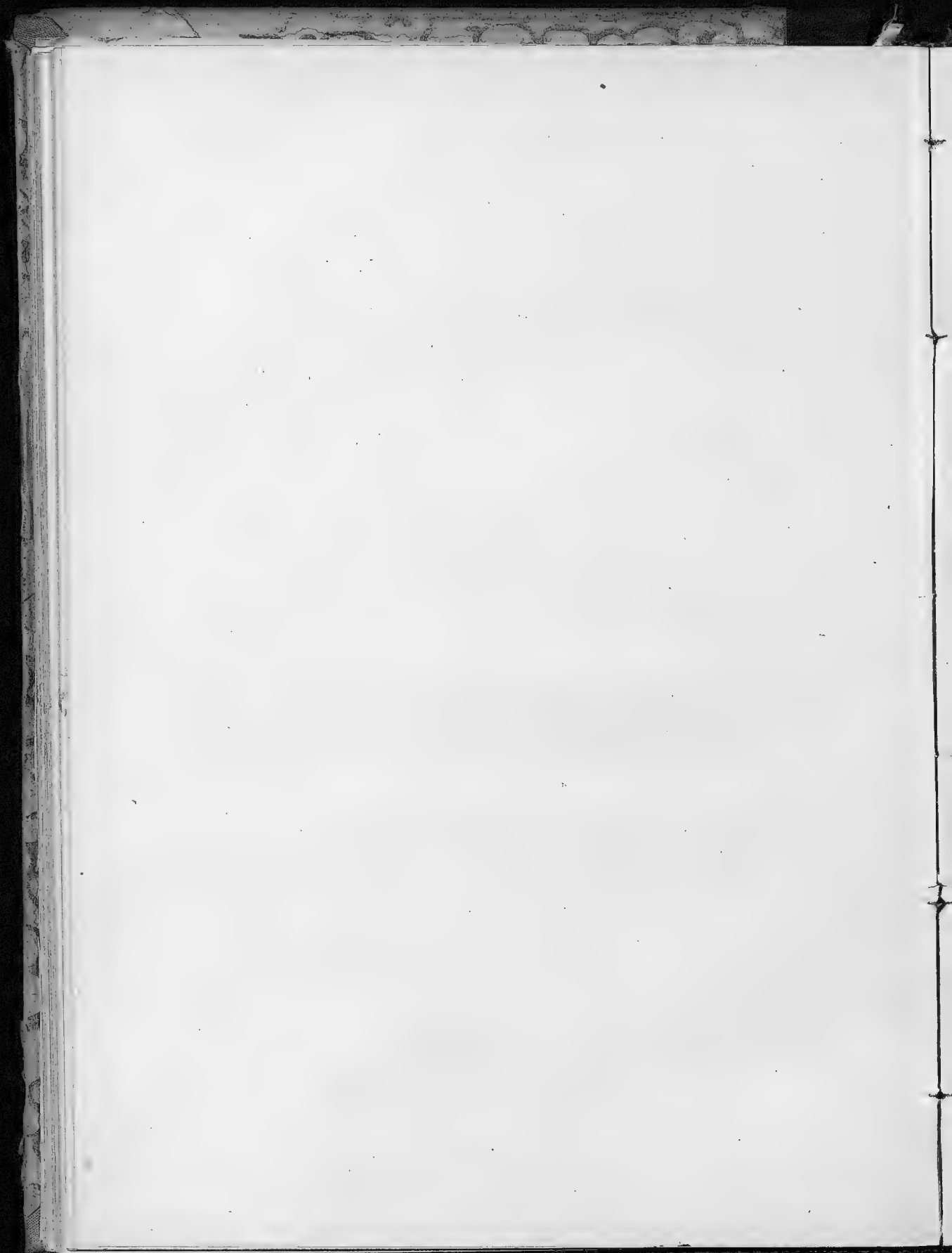
Тамъ дѣйствуютъ мѣстные государственные уставы и порядки, хотя тамъ второстепенные князьки превращены уже, подъ постояннымъ давленіемъ имперской власти и воли, въ почтительно расшаркивающихся передъ Берлиномъ генераль-губернаторовъ и командующихъ военными округами. Они безличны, и никто даже и въ ихъ резиденціяхъ не помнитъ особенно объ ихъ существованіи. Но въ Пруссіи, въ королевствѣ короля Вильгельма, весь періодъ его царствованія—полоса сплошной реакціи, все болѣе и болѣе наступательной и упорной. Между королемъ и народными массами—пропасть.

Рабочіе, окончательно обманутые въ своихъ ожиданіяхъ, отвернулись отъ императора, составили внушительную баррикаду социаль-демократической оппозиціи, широкою волною пробрались въ рейхстагъ и представляютъ собою вѣчнаго и непримиримаго внутренняго врага.

Всѣ симпатіи императора принадлежать только военному сословію и прусскимъ аграріямъ, крупному помѣстному дворянству. Вильгельмъ II не любитъ интеллигенціи, игнорируетъ крестьянъ и ненавидитъ рабочихъ. Въ обѣихъ палатахъ,—и Верхней, и Нижней,—хозяйничаютъ у него и законодательствуютъ также почти исключительно лишь представители имущихъ классовъ,—баронское землевладѣніе и городская буржуазія съ примѣсью лютеранскаго духовенства. Достаточно сказать, что въ прусской палатѣ депутатовъ консервативныя и реакціонныя начала исповѣдываются, защищаются и проводятся въ жизнь и дѣйствительность 308-ю голосами изъ 433. Вліяніе, значеніе и дѣйствіе представительнаго правленія сведены въ Пруссіи къ самымъ узкимъ и для гражданъ тѣснымъ нормамъ и формамъ. Сеймъ очень рѣдко напоминаетъ пруссакамъ о своемъ существованіи чѣмъ-либо важнымъ, громкимъ или интереснымъ. Ландтагъ не пользуется своимъ правомъ законодательнаго почина. Министры въ Пруссіи—простые слуги короля, а не государства, и они въ своемъ парламентскомъ обиходѣ то-и-дѣло ссылаются на мнѣнія, желанія и приказанія короля.

Въ 1895 году Вильгельмъ II, обращаясь въ Кельнѣ къ представлявшей ему депутаціи отъ города и купечества, сказалъ: «Будьте спокойны. Блага мира обезпечены. Я полагаю, что тѣ, которые посягнуть на нихъ, получатъ такой урокъ, который они сто лѣтъ будутъ помнить».

Говоря это, пусть онъ былъ пророкомъ въ отечествѣ своемъ.



СЕРГѢЙ КРЕЧЕТОВЪ.

НА МІРОВОМЪ ПУТИ.

Рукой Всевышняго хранима,
Навстрѣчу грянувшей грозѣ
Идешь ты, Русь, неколебима
По міровой твоей стезѣ.

Страна народа - исполина,
Молись, великая страна,
Чтобъ вѣтеръ Вѣны и Берлина
Завѣялъ наши знамена.

Но если Богъ принять намъ первымъ
Къ себѣ лихихъ гостей судилъ,
Поля російскія безмѣрны,—
Тамъ хватитъ мѣста для могилъ.

Заря родного небосклона
Зоветь надменнаго врага,
И рокъ, что ждалъ Наполеона,
Влечетъ ихъ въ русскіе снѣга.

Два Рима было во вселенной.
О, Русь! Создай мечомъ твоимъ
Вовѣкъ незыблемый, нетлѣнный,
Послѣдній, всеславянскій Римъ.

ЮРІЙ СОВОЛЕВЪ

ГАРШИНЪ НА ВОЙНѢ.

I.

Вы помните, какъ болѣзненно переживаетъ герой гаршинскаго разсказа «Трусь»—вѣсти, доходящія съ войны?.. Цифры, глухо и кратко намѣчавшія кровавыя, неисчислимыя жертвы, волновали его и казались ожившими. «50 мертвыхъ, 100 изувѣченныхъ»... «12 тысячъ убитыхъ»—эти цифры стали носиться передъ нимъ, то «въ видѣ знаковъ, то растягиваясь безконечной лентой лежащихъ рядомъ труповъ»... Если исчислить пространство, занимаемое этими тысячами труповъ, то окажется, что получается «дорога въ восемь верстъ»... И эта страшная дорога, орошенная кровью, усѣянная тѣлами— не даетъ сознанію успокоиться ни на одинъ мигъ. И странно: она неудержимо и властно зоветъ къ себѣ, она требуетъ какой-то жертвы со стороны и вотъ этого мирнаго читателя газетныхъ реляцій, чтобы и онъ прервалъ свое обыденное, и шелъ бы туда, гдѣ носится смерть и падаютъ, подкошенные ея косою, люди...

Но во имя чего должно идти на этотъ голосъ неуспокаивающей совѣсти?.. Что объединяетъ всѣхъ этихъ безыменныхъ,

безвѣстныхъ, что побросавъ дома и семьи, присоединились къ сѣрымъ баталліонамъ, къ этой массѣ людей, жизнь которыхъ отдана случайностямъ, опасностямъ и возможной гибели?..

«Общее дѣло»—вотъ что спаиваетъ всѣхъ,—отвѣчаетъ себѣ гаршинскій «трусъ». Отвѣтивъ такъ, такъ осознавъ положеніе вещей, нельзя оставаться болѣе спокойнымъ читателемъ газетныхъ реляцій о кровавыхъ ужасахъ войны. Нужно самому раздѣлить этотъ ужасъ, нужно самому стать частицей этого общаго цѣлаго—этого «общаго дѣла». И «трусъ» идетъ сражаться.

Такъ разрѣшился душевный кризисъ и у самого Гаршина.

Русско-турецкая война, и какъ ея прелюдія,—рѣзня турокъ болгарскаго населенія въ 1876 году, застала В. М. Гаршина въ разгаръ самыхъ мирныхъ работъ. Онъ сдавалъ экзамены въ Горномъ институтѣ, усиленно занимался, мечталъ о научной дѣятельности. Но вѣсти, шедшія съ Балканъ, но лихорадочное оживленіе, царившее въ русскомъ обществѣ, но добровольческое движеніе въ Сербію, усилившееся съ каждымъ днемъ,—наконецъ вмѣшательство Россіи, и неизбѣжность войны,—все это такъ жгуче волновало, такъ было близко, находило такой живой откликъ, что Гаршинъ былъ уже не въ состояніи ни спокойно заниматься, ни продолжать обычной жизни.

Онъ былъ впечатлителенъ и душа его была хрупка и нѣжна. «У него былъ человѣческій талантъ»,—сказалъ о студентѣ Васильевѣ Чеховъ въ «Припадкѣ»,—разсказъ посвященномъ памяти Гаршина.

«Человѣческимъ талантомъ» былъ и этотъ писатель, душа котораго, какъ свѣточувствительная пластинка, чутко отражала всѣ колебанія, волненія, всѣ волны и звуки жизни. И потомъ—у него,—автора «Краснаго цвѣтка»,—произведенія, въ которомъ такъ ярко поставлены вопросы о борьбѣ со зломъ путемъ личной жертвы,—у него была такая совѣсть, которую можно принять какъ бы олицетвореніемъ великой совѣсти всей нашей литературы.

«Милость къ падшимъ»—завѣтъ, оставленный Пушкинымъ, претворилъ Гаршинъ въ дѣло своей жизни.

И эту необычную чувствительность къ чужимъ страданіямъ, эту яркую воспріимчивость къ горю ближняго, эту воистину христіанскую впечатлительность,—назвали болѣзнью Гаршина. Правда, онъ былъ «душевно-больной»,—«сумасшедшій». «Именемъ императора Петра Великаго требую ревизію сему сумасшедшему дому»,—такъ кричалъ не только его герой въ «Красномъ цвѣткѣ»,—этотъ дикій вопль вырвался и изъ груди самага Гаршина.. И это онъ, ночью, пробравшись тайкомъ, добился свиданья со всесильнымъ Лорисъ-Меликовымъ и, обливаясь слезами, умолялъ о пощадѣ и милости къ осужденнымъ преступникамъ... И это онъ скитался босой, голодный, полу-одѣтый по степи, и потомъ, добравшись до Ясной Поляны, о чемъ-то, захлебываясь, въ волненіи глотая слезы, возбужденно спорилъ съ Толстымъ... И это онъ ночью на Невскомъ вступился за женщину, чье ремесло—продовать свое тѣло.

Да, конечно, сумасшедшій, да, конечно, больной... «юродивый»—какъ сказалъ онъ самъ о себѣ...

Только чѣмъ была вызвана эта болѣзнь?.. Не грубымъ-ли посягательствомъ жизни, требовательной, жестокой, вѣчно побѣждающей слабого, всегда угнетающей беззащитнаго?.. Наглою сидѣ повседневною, суровому закону «борьбы за существованіе»—Гаршинъ предположилъ свою возмущенную совѣсть, свою впечатлительную душу, свой «человѣческій талантъ»... Слишкомъ незначительная защита, слишкомъ хрупкое оружіе!..

Что удивительнаго, что онъ остался побѣжденнымъ?.. Но пока хватало силы,—Гаршинъ боролся съ неправдой жизни. Такой неправдой, такой несправедливостью казалась ему и война.

II.

«За сообщеніе новостей изъ профессорскаго міра весьма благодаренъ, хотя, по правдѣ сказать, электрофорная машина Теплова и соединеніе химическаго и физическаго общества интересуютъ меня гораздо меньше, чѣмъ то, что турки перерѣзали

30,000 безоружныхъ стариковъ, женщинъ и ребятъ. Плевать я хотѣлъ на всѣ ваши общества, если они всякими научными теоріями никогда не уменьшаютъ вѣроятностей совершенія подобныхъ вещей»,—такъ писалъ Гаршинъ своему пріятелю Н. С. Дрентельну въ 1876 году. Онъ жилъ тогда лѣтомъ въ Харьковѣ, и душевное его состояніе, волнуемое извѣстіями о турецкихъ звѣрствахъ на Балканахъ, было таково, что о себѣ онъ сообщаетъ тому же Дрентельну такъ: «если я не заболѣю это лѣто, то это будетъ чудомъ».. Онъ не заболѣлъ, хотя опасность возвращенія того душевнаго недуга, первымъ приступомъ котораго онъ страдалъ три года назадъ,—будучи въ выпускномъ классѣ гимназій,—конечно, только усиливалась отъ сознанія ужасовъ творимыхъ на войнѣ. Гаршинъ осенью вернулся въ Петербургъ, но и здѣсь не оставляла его тревога. Съ каждымъ новымъ извѣстіемъ съ театра военныхъ дѣйствій выростала въ немъ рѣшимость и свою жизнь отдать «общему дѣлу»... Онъ бросаетъ переходные экзамены въ Институтъ и записывается добровольцемъ. Его примѣръ увлекъ двухъ товарищей: вмѣстѣ съ нимъ записался въ ряды дѣйствующей арміи его давній другъ В. Н. Афанасьевъ,—а нѣсколько позже гимназическій товарищъ—художникъ М. Е. Малышевъ.

Гаршинъ, простившись въ Харьковѣ съ родными, отправился въ Кишиневъ, гдѣ и былъ по особому Высочайшему приказу зачисленъ вольноопредѣляющимся въ 138-ой Болховскій пѣхотный полкъ.

Онъ бодро перенесъ всѣ тяжести похода, впоследствии описаннаго имъ въ «Воспоминаніяхъ рядового Иванова», и быстро сошелся съ солдатами, съ которыми дѣлилъ всѣ трудности, выпавшія на ихъ долю. Онъ чѣмъ могъ облегчалъ ихъ положеніе—и за частую вмѣсто нихъ исполнялъ «черную работу», отъ которой своимъ положеніемъ—вольноопредѣляющагося—былъ избавленъ. Съ нимъ быстро свѣклись въ ротѣ, полюбили, перестали смотрѣть какъ на барина... Послѣ перваго боя, въ которомъ участвовалъ Болховскій полкъ,—послѣ дѣла при Аясларѣ, въ которомъ Гаршинъ былъ легко раненъ въ ногу,—солдаты единогласно присудили одинъ изъ Георгіевъ, отданныхъ на роту,—Всеволоду

Михайловичу. Кстати сказать, этого присужденнаго ему ордена Гаршинъ почему-то такъ и не получилъ...

За Аясларское дѣло В. М. былъ произведенъ сперва въ унтеръ-офицеры, а потомъ получилъ и первый офицерскій чинъ...

Сохранились письма Гаршина къ его матери и давнему знакомому ихъ семьи И. Е. Малышеву, писанныя во время похода. Эти письма—чрезвычайно цѣнный матеріалъ для характеристики В. М. Но напрасно въ нихъ искать тѣ «писательскія чѣрты», которыя естественно ожидать отъ писемъ будущаго автора «Четырехъ дней», «Труса», «Воспоминаній рядового».

Ни одного яркаго штриха, ни одной черточки, изобличающаго чуткаго наблюдателя, который воспользуется этими записями для своей художественной работы...

Впрочемъ, такихъ «черточекъ» мало и въ самыхъ разсказахъ Гаршина... Всѣ они, написанные отъ перваго лица,—автобіографичные въ каждой подробности, портретные въ каждомъ дѣйствующемъ лицѣ,—мало изобразительны въ смыслѣ передачи картинъ. Въ нихъ почти отсутствуетъ образность, пластичность, та картинность, которая рельефно передаетъ внѣшнее. Но въ нихъ есть нѣчто большее, и нѣчто болѣе цѣнное именно для Гаршина,—для этого «человѣческаго таланта».

Какъ назвать это «нѣчто», какія подыскать опредѣленія тому живому, горячему, человѣческому, что бьется въ этихъ очеркахъ и наброскахъ?..

Это и высокая совѣстливость, и глубочайшая честность, не позволяющая говорить ни слова неправды, и заставляющая правдиво описывать лишь то, что дѣйствительно было, это и нѣжнѣйшее состраданіе къ чужой боли, это и обливающееся кровью сердце, сердце страдающее при видѣ всѣхъ ужасовъ человѣческой бойни,—это и призывъ къ человѣчности, человѣчности, которая видитъ брата во врагѣ, которая призываетъ къ всепрощенію, къ миру, къ забвенію вражды...

Но въ его письмахъ поражаетъ спокойствіе; эпическій тонъ, почти равнодушіе... Все что такъ волнуетъ въ его разсказахъ, все, что такъ въ нихъ дорого,—все это въ письмахъ словно прикрито

какой-то маской, изъ подъ которой и не выглядываютъ эти чудесные глаза, отражающіе весь ужасъ зла и насилія, глаза пылающей совѣсти, глаза великаго страдальца...

Онъ и самъ удивляется своему «спокойствію». «Я никакъ не ожидалъ, чтобы при моей нервности, я до такой степени спокойно отнесся къ виду раненыхъ, крови, трупамъ и прочимъ аксессуарамъ войны»,—пишетъ онъ Малышеву. Удивителенъ тонъ этого письма: въ немъ описываетъ Гаршинъ вещи, леденящія своимъ ужасомъ кровь,—но послушайте какъ эпически ровень его рассказъ: «одного турку вмѣсто того, чтобы зарывать, казаки обложили снопами и зажгли! Представьте, что изъ него вышло. Черная, обугленная масса, приблизительно подходящая по формѣ къ человѣческому тѣлу. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ трещины, въ которыхъ видно красное мясо. Черепъ оскалилъ зубы; они рѣзко выдаются на черномъ фонѣ своей бѣлизной. Тамъ, гдѣ были ноги, какія-то черныя, угольные бревна. Кости высовываются изъ нихъ, потому что ступни отвалились. И все это отъ пятидневнаго лежанія на солнцѣ издаетъ невыносимый запахъ»...

Въ томъ же тонѣ и письма къ матери. И опять пишетъ о своемъ состояніи Вс. Мих. такъ:

«Видно мои нервы совершенно окрѣпли. По крайней мѣрѣ, видъ поля битвы (черезъ 5 жаркихъ дней послѣ боя) не произвелъ во мнѣ никакого потрясенія. Я даже былъ черезчуръ спокоенъ».

Словно какъ самоосужденіе, звучатъ эти послѣднія слова: «я былъ даже черезчуръ спокоенъ»,—и Гаршинъ спѣшитъ пояснить, что вообще война была для него полезна. «Во мнѣ появилась совершенная увѣренность въ томъ, что я благополучно вернусь,—пишетъ онъ матери, указывая въ этомъ письмѣ, на все то новое, что ему пришлось узнать:—«Сколько новаго узналъ я, такъ измѣнилось мое отношеніе къ различнѣйшимъ предметамъ; относительно «красноты», я пошелъ еще дальше въ прежнемъ направленіи. Я ясно созналъ теперь громадность міра, съ которымъ пытается бороться кучка людей»...

Вотъ какъ бы итогъ тому моральному воздѣйствію, которое оказала война на его психологію. Но, какъ мы знаемъ, ре-

зультаты пребыванія Гаршина въ рядахъ дѣйствующей арміи, сказались прежде всего въ формулирующемъ вліяніи на его чисто-писательское-художническое дарованіе. На войну поѣхалъ робкій дебютантъ, помѣстившій незначительный беллетристическій опытъ,—съ войны вернулся признанный писатель.

Война дала ему матеріалъ для лучшихъ его вещей: ужъ не говоря о томъ, что именно первый рассказъ, принесшій ему извѣстность—былъ рассказъ изъ военной жизни—«Четыре дня», но и остальные его произведенія, написанныя подъ непосредственными впечатлѣніями пережитаго похода на Дунай и участія въ дѣлахъ противъ турокъ—«Изъ воспоминаній рядового Иванова», «Трусь», «Очень коротенькій романъ», «Боевыя картинки»,—несомнѣнно, удачнѣйшее изъ всего созданнаго Гаршинымъ. И, конечно, «Четыре дня» заслуживали того успѣха, которымъ сопровождалось появленіе этого рассказа въ «Отечественныхъ запискахъ» въ 1877 году. Въдѣ въ этомъ простомъ и выразительномъ этюдѣ была запечатлѣна та суровая правда, которая впервые засверкала съ мощныхъ страницъ «Севастопольскихъ рассказовъ» Льва Толстого. И въ этомъ отношеніи, въ такомъ реалистическомъ подходѣ къ батальному сюжету — Гаршинъ явился преемникомъ великаго писателя.

Самое возникновеніе «Четырехъ дней» обязано происшествію, имѣвшему мѣсто въ дѣйствительности, которая, какъ извѣстно, такъ часто превосходитъ самую пылкую фантазію мечтателей, и сама ушла кажется чудеснымъ вымысломъ.

Вотъ одно изъ такихъ «чудесъ» и наблюдалъ Гаршинъ. Въ письмѣ къ матери, рассказывая о своей командировкѣ съ ротой, посланной убирать на полѣ сраженія убитыхъ,—онъ сообщаетъ:

«Мы были вознаграждены за все. Нашли раненаго. Пять сутокъ лежалъ онъ въ кустахъ съ пробитой ногой. Нѣсколько разъ турки ѣздили мимо него, но не замѣчали. Наконецъ, 19 іюля, черезъ 5 дней послѣ боя, наша 6-я рота набрела на несчастнаго. Его подняли и принесли въ Кожелово. Жизнь его внѣ опасности. Вотъ уже именно спасшійся чудомъ!»

Такъ возникъ сюжетъ «Четырехъ дней»...

Война не кончилась совершенно благополучно для Гар-

шина. Какъ мы упоминали, въ первомъ же сраженіи, въ которомъ участвовалъ Всеволодъ Михайловичъ,—онъ былъ раненъ въ ногу. Вотъ какъ описываетъ онъ самъ свое «боевое крещеніе»: «Только что мы ихъ (турокъ) погнали, меняхватило по всему тѣлу что-то огромное, и я упалъ. Впрочемъ, я скоро опомнился, сѣлъ, затулилъ себѣ платкомъ ногу выше колѣна и поползъ. Шаговъ сто спустя, меня подняли нашъ барабанщикъ и унтеръ-офицеръ и дотащили до носилокъ!..»

Черезъ нѣсколько дней Гаршина отправили въ санитарномъ поѣздѣ въ Россію. Онъ счастливо попалъ въ Харьковскій лазаретъ, гдѣ и дописалъ, начатый еще въ Болгарскомъ госпиталѣ, свой первый рассказъ.

III.

Гаршинъ на войнѣ пережилъ душевный кризисъ, оказавшій самое мощное, самое направляющее вліяніе на всю его послѣдующую жизнь. Та боль и страданіе, тѣ неясные порывы и смутныя исканія,—какія томили его съ первыхъ сознательныхъ дней, здѣсь на войнѣ нашли свое разрѣшеніе... Нужно было найти что-то, что послужило бы исходомъ въ этихъ томящихъ порываніяхъ духа... Нужно было найти какую-то форму, въ которую могла бы вылиться эта сдерживаемая душевная накипь...

Въ обыденномъ общеніи съ людьми, въ перепискѣ съ ними, и въ личныхъ съ ними столкновеніяхъ, трудно было высказать эту давнюю боль. Мы стыдимся признаній и исповѣдей. Щадимъ нашихъ ближнихъ и боимся нарушить ихъ покой слишкомъ страстными нашими изліяніями...

И Гаршинъ, напр., въ своей перепискѣ именно стыдливъ... Онъ умалчиваетъ о дѣйствительной боли, переживаемой имъ,—и хотя знаетъ самъ, что это его спокойствіе, о которомъ онъ такъ часто пишетъ,—вовсе не спокойствіе равнодушія,—все же твердитъ о своемъ, «черезчуръ даже» окрѣпшемъ организмѣ...

Но вотъ что чрезвычайно важно: рассказывая о видѣнныхъ имъ воочию ужасахъ (трупы турокъ, разложившіеся на пятидневной жарѣ),—онъ добавляетъ:

«Странно, мнѣ кажется, что, если бы я увидѣлъ эти обезображенные оружіемъ и временемъ трупы нарисованными, или прочелъ бы описаніе ихъ à la Hugo, или Эдг. По, то болѣе бы содрогнулся». (Изъ письма къ матери).

И въ другомъ мѣстѣ, въ приведенномъ выше отрывкѣ,—гдѣ рассказывается о поджаренномъ трупѣ турка,—Гаршинъ опредѣленно заявляетъ: «Даже такое нехудожественное описаніе дѣйствуетъ на меня самого болѣе непріятно, больше вывертываетъ душу, чѣмъ самый видъ неизвѣстнаго правовѣрнаго»...

Это уже чисто художническое, чисто писательское свойство: Гаршинъ спокойно наблюдаетъ, но содрогается, когда подобное наблюденіе передано кистью художника, или перомъ повѣствователя... И самъ онъ, какъ писатель, свои описанія сдѣлалъ такими, что вѣетъ отъ нихъ подлинный ужасъ, и безуміе войны смотреть на насъ своими налитыми кровью глазами...

И холодный, «черезчуръ спокойный», почти равнодушный въ своихъ письмахъ,—онъ становится потрясеннымъ рассказчикомъ, страстнымъ борцомъ, глашатаемъ любви и мира въ своихъ рассказахъ... И въ сущности все, что онъ написалъ о войнѣ—все это одинъ лишь призывъ къ жалости, призывъ къ любви. И все проникнуто одной цѣлью—вселить отвращеніе къ этой страшной бойнѣ — войнѣ.

Вотъ «описываетъ» онъ трупы солдатъ:

«Трупъ лежалъ на пескѣ, но его видъ не возбуждалъ ужаса и отвращенія, а только безконечную жалость къ погибшей, бывшей ключомъ жизни».

И глядя на убитого, представляется «родина, жаркій вѣтеръ въ степи, слобода по оврагу, левады, заросшія вербами, бѣленькія мазанки съ красными ставнями. Кто ждетъ тебя тамъ?..»

Какая скорбь въ этихъ простыхъ словахъ объ убитомъ товарищѣ: «онъ былъ замѣчательный красавецъ, голубоглазый, стройный, ловкій. Онъ лежитъ теперь на Аясларской горѣ и отъ голубыхъ прекрасныхъ глазъ и прекраснаго лица уже ничего не осталось»...

Безуміе разлито на этомъ полѣ смерти:

«Вотъ стрѣлокъ съ раздробленной кистью руки, страшно охая и закатывая глаза, съ посинѣвшимъ отъ потери крови и боли лицомъ, все-таки злобно кричалъ вслѣдъ туркамъ, махая больною рукою: «шалишь, шалишь, проклятый!».

Но наряду съ безуміемъ, на ряду со скорбью о «погибшей, бывшей ключомъ жизни»,—героизмъ, героизмъ простыхъ людей, безъ фразъ, безъ красоты... Полкъ, исполняющій возложенное порученіе, ушелъ на отдыхъ, а какой-то солдатъ остался и все продолжаетъ стрѣлять. И Гаршинъ записываетъ такой короткій разговоръ съ нимъ:

— Вы бы ушли, землякъ,—сказалъ я ему:—вѣдь вашъ полкъ спустился.

— Да ужъ все одно, постоимъ до конца!—отвѣчалъ онъ.

Незнаю, какъ зовутъ его, не знаю даже, живъ ли онъ, но всегда буду помнить торжественный тонъ его голоса.

И нѣтъ страха среди этой массы людей,—этого «пушечнаго мяса»,—которое такъ ненавидитъ, и о которомъ такъ скорбитъ гаршинскій капитанъ Венцель («Изъ воспом. рядового Иванова»)... Нѣтъ страха у этой «сѣрой, святой скотинки»—и можно, отправляясь на смертный бой,—продолжать заботы обычнаго дня: солдатъ, готовясь къ походу, ощипалъ убитаго гуся... Зачѣмъ ему этотъ гусь,—когда сегодня онъ можетъ угодить подъ турецкую пулю?..

— Страшно вамъ?—спрашиваетъ авторъ записокъ «рядового Иванова» у этого солдата. И слышитъ въ отвѣтъ:

— Да можетъ, ничего и не будетъ,—не скоро отвѣтилъ онъ, щурясь и старательно выщипывая оставшійся бѣлый пушокъ.

— А если будетъ?

— Ежели будетъ—страшно, не страшно, все одно, итти надо. Нашего брата не спросятъ. Иди себѣ съ Богомъ. Дай-ка ножа: у тебя ножъ важный.

Я далъ ему свой большой охотничій ножъ. Онъ разрубилъ гуся вдоль и поперекъ и половину протянулъ мнѣ.—Возьми-ка

себѣ на случай. А объ этомъ самомъ, страшно ли, не страшно ли, не думай, баринъ, лучше. Все отъ Бога. Отъ Него никуда не уйдешь...»

И нѣтъ ни ненависти, ни злобы, ни даже этого «геройства», — эффектнаго и импозантнаго, который зоветъ «на бой»... Кругомъ люди, простые, безхитростные, мирные люди, исполняющіе свой долгъ и не думающіе ни о подвигахъ, ни о томъ ужасѣ, который таится въ самомъ понятіи — война... Они идутъ на бой, — а сами и не думаютъ объ убійствѣ... «Я не хотѣлъ зла никому, когда шелъ драться. Мысль о томъ, что и мнѣ придется убивать людей, какъ-то уходила отъ меня. Я представлялъ себѣ только, какъ я буду подставлять свою грудь подъ пули. И я пошелъ и подставилъ»...

Такъ думаетъ герой «Четырехъ дней», которому кажется невѣроятнымъ, что это онъ, ушедшій на войну, чтобы подставить свою грудь, — самъ преступилъ заповѣдь «не убій», самъ убилъ вонъ этого страшнаго турка, чей разложившійся трупъ лежитъ рядомъ съ нимъ... И возникаютъ мысли о томъ, что этотъ вчерашній врагъ, — ни въ чемъ не виноватъ. Судьба пригнала его сюда... И у него есть старая мать... «Долго она будетъ по вечерамъ сидѣть у дверей своей убогой мазанки да поглядывать на далекій сѣверъ: не идетъ ли ея ненаглядный сынъ, ея работникъ и кормилецъ»...

«Подставить свою грудь подъ пули» — пошелъ и Гаршинъ... Онъ чувствовалъ, что принося себя въ жертву, — можно оправдаться передъ страшною судьбой, требующей участія въ «общемъ дѣлѣ»... Но это дѣло — безуміе и ужасъ. Это дѣло — человѣческая бойня... Это дѣло, — неисчислимыя жертвы, неизмѣримыя страданія... Надо самому изойти въ мукахъ скорби, надо самому пострадать съ ближними, чтобы заглушить голосъ совѣсти. Къ счастью, судьба пощадила Гаршина: онъ остался живъ. Онъ вернулся домой. Но возвращаясь, онъ пришелъ другимъ — дѣломъ его жизни стало призваніе писателя. Этотъ свой долгъ онъ осозналъ до конца. Онъ сталъ писателемъ, каждое слово котораго дышало состраданіемъ, жалостью и любовью...

И война, весь ея ужасъ имъ пережитый, все ея безуміе, которое вѣяло на него,—наполнило его нѣжную душу, такой любовью къ людямъ, такой ненавистью къ злу и насилію, что переполнилось сердце и не выдержало...

Надвинулся мракъ безумія и Гаршинъ погибъ... Но всѣ его земные дни—были днями добра и состраданія... Война, на которую онъ пошелъ, повинувшись голосу совѣсти,—была одной изъ прекраснѣйшихъ полосъ его благородной жизни..

П. БЕРЛИНЪ

ДВѢ ГЕРМАНИИ.

У нѣмцевъ есть гордая пословица— „много враговъ, много чести“.

Не знаю, утѣшаются ли нѣмцы этою пословицей теперь, когда враговъ то у нихъ во всякомъ случаѣ чрезвычайно много.

Текущія событія доказываютъ, что гордая нѣмецкая пословица не всегда примѣнима. Множество враговъ, морѣ вражды, окружившія Германію менѣе всего дѣлаютъ ей „честь“. Эта всеобщая, міровая враждебность къ Германіи, вырвавшаяся теперь, какъ пламя изъ тлѣющаго пепла, представляетъ любопытнѣйшее явленіе текущей міровой жизни.

Откуда въ самомъ дѣлѣ у Германіи столько враговъ? Почему эти страны всяческой и разной культурной долготы и широты вдругъ вспыхнули такою яркою и общею враждебностью къ Германіи?

У нѣмецкаго императора на это нашелся отвѣтъ скорый и для нѣмцевъ чрезвычайно утѣшительный—Германіи-де завидуютъ. Она выросла, окрѣпла, обзавелась могущественною промышленностью, стала завоевывать рынки за рынками, одерживать побѣду за побѣдою на полѣ экономической брани. Удивительно ли, что ея неудачные и вытѣсненные соперники превратились въ ея враговъ.

Такъ объясняетъ вражду къ Германіи императоръ Вильгельмъ и иже съ нимъ.

Но такъ ли это? Соотвѣтствуетъ ли это утѣшительное для нѣмецкаго самолюбія объясненіе истинному положенію дѣла. Не трудно убѣдиться, что совсѣмъ не соотвѣтствуетъ. Нынѣшняя война вскрыла вражду къ Германіи въ такихъ различныхъ слояхъ и душахъ народовъ Европы, что невольно возникаетъ стремленіе понять и объяснить, почему же это, въ самомъ дѣлѣ, у Германіи столько враговъ и приносить ли это ей „честь“.

Что вражда эта не укладывается въ рамки національной только и экономической только борьбы, показываетъ тотъ простой фактъ, что сказалась она въ душахъ людей и народовъ, мало имѣющихъ общаго другъ съ другомъ и, какъ напр., Россія, мало терпящихъ отъ экономической конкуренціи Германіи.

Нѣкоторые органы печати говорятъ, правда, о борьбѣ славянства и германства. Но вѣдь не славяне—англичане, французы и бельгійцы, не славяне—многочисленные инородцы, населяющію Россію, а между тѣмъ нельзя отрицать, что они всѣ обнаружили не меньшую нелюбовь и вражду къ Германіи.

Въ чемъ же тутъ дѣло? Нѣмецкая культура, наука, техника достигли такой высокой степени развитія, что, казалось бы, оставалось у Германіи учиться и ей слѣдовать. Мы вѣдь всѣ знаемъ и твердо помнимъ, какую огромную и положительную роль сыграло это ученіе у Германіи въ исторіи русскаго интеллектуальнаго и общественнаго развитія. Мы уже не говоримъ о Шиллерѣ, Гете и другихъ великихъ плюсквамперфектахъ нѣмецкаго искусства. И въ новѣйшее время наша передовая интеллигенція воспитывалась и духовно росла въ значительной степени на идеяхъ и фактахъ новѣйшей исторіи Германіи. Трудно преувеличить ту большую и положительную роль, которую сыграли въ этомъ отношеніи „Рус. Вѣд.“ и, въ частности, корреспонденціи въ нихъ покойнаго Г. Юлоса. А паломничество въ Германію нашей лѣчащейся и учащейся массы! Сколько оттуда выносилось глубокихъ впечатлѣній, новыхъ идей! сколько узнавалось о новыхъ завоеваніяхъ человѣческой мысли, какъ прививалось уваженіе къ культурѣ, стремленіе работать надъ ея ростомъ!

Не чуждо все это было наивного провинциализма, сказывалась неспособность отдѣлать пшеницу отъ плевелъ, но за всѣмъ тѣмъ, для кого же и какое же было сомнѣніе, что Германія—страна высокой культуры, что у нея можно и должно учиться?

И вдругъ такой поворотъ!

Тѣмъ самымъ „Рус. Вѣд.“, которыя такъ долго занимались, если можно такъ выразиться, пропагандой Германіи, которыя десятки лѣтъ прививали русскому обществу любовь и уваженіе къ германской культурѣ, имъ теперь приходится изъ номера въ номеръ говорить о фактахъ нѣмецкаго варварства, о все новыхъ проявленіяхъ вандализма, о надругательствѣ Германіи надъ элементарными вѣчными права, правды, культуры.

Какъ-то такъ сразу, какъ бываетъ лишь въ кинематографахъ, Германія повернулась ко всей Европѣ своею оборотною стороною; и факты ея дикости, жестокости, варварства посыпались, какъ изъ рога изобилія. Но всѣ эти факты лишь выявили, вывели наружу, обострили ту вражду къ Германіи, которая и безъ и до нихъ жила въ душѣ Европы. Эти факты только какъ бы оправдывали эту вражду, какъ бы показавъ ея правомѣрность. Но сама по себѣ эта вражда, несомнѣнно, тлѣла въ душѣ европейскихъ государствъ отъ Англіи до Россіи и теперь прорвалась наружу.

Не германскіе экономическіе успѣхи и не ея культура вызвали и питаютъ къ ней враждебныя чувства, а тотъ общій уклонъ, тотъ духъ, которыми все болѣе пропитывалась Германія, насыщая имъ и всю атмосферу европейской жизни. Это духъ солдатчины и казармы, мертвой техники и тупого самодовольства. Германія за послѣдніе годы сдѣлала въ этомъ направленіи огромные успѣхи. Какъ то даже и повѣрить трудно, читая нынѣшнія газеты, что это та же Германія, которая сто лѣтъ тому назадъ была тихою обителью поэтовъ и философовъ, въ которой во время наполеоновскихъ войнъ великій философъ, Гегель, тихо кралучись, подъ полою длиннаго сюртука спасалъ отъ вступившихъ въ городъ французскихъ войскъ рукопись своей «Феноменальности духа».

Бѣдный Гегель! Какъ смѣялся надъ нимъ за это злой насмѣшникъ Генрихъ Гейне. Но развѣ же эта трогательная фигура нѣмец-

каго философа, спасающаго въ дыму пожаровъ европейской войны высшее сокровище—произведеніе гениальнаго ума, развѣ же фигура эта не выше во сто кратъ нынѣшнихъ нѣмцевъ, въ жертву войны приносящихъ все, жгущихъ драгоцѣнныя бібліотеки и разрушающихъ величайшіе очаги искусства. И эта то перемѣна, это направленіе въ развитіи Германіи все дальше отъ внутренней культуры и все ближе къ внѣшней, все это родило и росло ея враговъ.

Чрезвычайно характерный фактъ. Незадолго до войны посѣтилъ Россію очень извѣстный нѣмецкій экономистъ-профессоръ Вернеръ Зомбартъ. Этотъ блестящій изслѣдователь капитализма, такъ много потрудившійся надъ прославленіемъ его культурной мощи, конечно, отлично зналъ и высоко цѣнилъ нѣмецкую культуру. Но изъ посѣщенія Россіи онъ вынесъ совершенно неожиданныя впечатлѣнія, такъ озадачившія впослѣдствіи благочиннаго нѣмецкаго бюргера. Проф. В. Зомбартъ, конечно, замѣтилъ всѣ громадныя культурныя недочеты и недоразвитіе Россіи. Но писалъ онъ не о нихъ. Онъ говорилъ о той тоскѣ и придавленности, которыя ноютъ въ душѣ чуткаго нѣмца, задавленнаго неуклюжей громадой чисто внѣшней культуры. Онъ съ увлеченіемъ рассказывалъ, что въ въ Россіи еще живы личности извѣстной душевной широты, внутренней самостоятельности, которыя умерли въ Германіи. Онъ сказалъ не мало горькихъ словъ по адресу лакированной культуры, и много ѣдкихъ сарказмовъ по адресу современной Германіи скатилось съ его пера.

Благочинный «Berliner Tageblatt», въ которомъ начались печататься фельетоны Зомбарта, сначала съ изумленіемъ и огорченіемъ исправлялъ и смягчалъ письмо о Россіи, а потомъ и совсѣмъ наотрѣзъ отказался печатать ихъ.

Фактъ очень любопытный, показывающій, что въ душѣ пропитаннаго нѣмецкою культурою чловѣка, сохранившаго чуткость и зоркость, сильно было чувство отталкиванія отъ чисто внѣшней культуры, такъ пышно разросшейся въ Германіи.

Двѣ стороны, находящіяся другъ съ другомъ въ тѣсной связи, воплотили въ себѣ всю эссенцію новѣйшей нѣмецкой культуры—это техника и милитаризмъ. Техника получила въ Германіи необычайное развитіе. Она сдѣлала колоссальныя успѣхи. На ней одно-

временно зиждется и военная и экономическая мощь страны. Но и техника эта развивалась односторонне, изъ слуги общества ставъ его господиномъ, все болѣе и все полнѣе поглощала силы и стремленія націи, сосредоточивала на себѣ всѣ стремленія и заданія и этимъ самымъ придавливала къ землѣ всю нѣмецкую жизнь, придавая плоско-утилитарный характеръ ея идеямъ и стремленіямъ.

Успѣхи технической культуры получили въ Германіи столь преобладающую и поглощающую роль, что на долю духовныхъ потребностей и безкорыстнаго творчества образовъ и идей оставались лишь слабыя силы и короткіе досуги.

Задачи и вопросы техники, всегда имѣющіе въ виду лишь ближайшія, утилитарныя цѣли, стояли въ центрѣ всей германской жизни и повелительно требовали всего вниманія и всего напряженія силъ націи.

Народъ поэтовъ и мыслителей все болѣе становился народомъ техниковъ и инженеровъ, купцовъ и фабрикантовъ. Германія стала поставщицей и производителницей, главнымъ образомъ, техническихъ цѣнностей, и ея бывшая слава страны мыслителей и поэтовъ все болѣе угасала.

А нѣмецкій милитаризмъ, опираясь все на ту же могущественную технику, долгіе годы работаетъ надъ чисто внѣшней дрессировкой націи. Всеобщая воинская повинность проводила сквозь казармы громадное большинство населенія. И эти казармы, въ которыхъ укрощались въ человѣкѣ всякіе свободные порывы и стремленія, въ которыхъ угащался духъ живой и создавался кумиръ изъ человѣка превращеннаго въ механизмъ, въ живой манекенъ, они воспитывали поколѣніе людей-автоматовъ, насаждали поколѣнія автоматической культуры. Уподобить человѣка современному автомату, заставить его подавить въ себѣ все, кромѣ вѣднѣй дисциплины и техники—такова была цѣль нѣмецкой казармы. И многіе милліоны нѣмцевъ, прошедшіе эту школу превращенія въ автоматы, дѣлались послушными насадителями той механической внѣшней культуры, которая такъ отталкивается отъ современной Германіи всякаго чуткаго ея наблюдателя.

Но этотъ автоматическій милитаризмъ уродоваль не только нѣм-

цевъ, но и втягивалъ въ свой строй всю Европу. Ростъ германскихъ вооруженій не могъ оставаться изолированнымъ, онъ влекъ за собою неизбежный ростъ милитаризма во всѣхъ другихъ странахъ. Германія была разсадникомъ современнаго милитаризма. Она превратила его въ цвѣтущую отрасль промышленности, она создала себѣ изъ него кумиръ, а за нею слѣдомъ должны были тянуться и всѣ остальные государства. И тянулись. Народы Европы несли на алтарь милитаризма все растущія жертвы. Росли долги, истощались силы. А милитаризмъ все росъ. Германія все сильнѣе вооружалась, изобрѣтала все болѣе истребительныя орудія убійства человѣка человѣкомъ, а за нею тянулись всѣ остальные государства. Милитаризмъ вытягивалъ всѣ соки народнаго труда, требовалъ все больше жертвъ, но его ненасытность росла по мѣрѣ роста жертвоприношеній. И впереди громадными солдатскими шагами вымуштрованная и вооруженная до зубовъ шагала Германія.

Становилось не подъ силу за нею угнаться, тѣмъ болѣе, что нѣмцы высоко чтили заповѣдь:—плодитесь и множитесь. Уже изнывала въ непосильномъ состязаніи Франція. Колоссально выросла задолженность всѣхъ государствъ, чудовищно выросли налоги. И все это во имя милитаризма. Мологъ милитаризма требовалъ все новыхъ и все большихъ жертвъ. Онъ поглощалъ силы населенія въ наиболѣе цвѣтущемъ возрастѣ, онъ тратилъ безумныя деньги на вооруженія, которыя, сегодня изобрѣтенныя и примѣненныя, завтра оказывались уже недостаточными и устарѣвшими.

И этому конца края не предвидѣлось. Въ чудовищномъ напряженіи всѣ страны увеличивали свои вооруженія. И сомнѣнія нѣтъ, что во главѣ, зачинщицей всѣхъ этихъ милитаристическихъ неистовствъ была Германія. Расположенная въ самомъ центрѣ Европы, она своими постоянными вооруженіями угрожала европейскому миру и заставила всѣ остальные страны тянуться за нею въ безумной чехардѣ милитаризма. Обогнать другую страну, чтобы завтра быть обогнаннымъ ею въ силѣ вооруженія—это становится насущною задачею всѣхъ государствъ.

Германія поставила это дѣло на очень прозаическихъ, вполне коммерческихъ основаніяхъ. Она превратила милитаризмъ въ отрасль

промышленности. Громадные огнедымящие заводы, сотни тысяч рабочих, тысячи ученых и дипломированных людей дено и ношно трудились и пеклись надъ изобрѣтеніемъ и изготовленіемъ новыхъ оружій и снарядовъ, которые бы лучше и вѣрнѣе, чѣмъ прежніе, умѣли убивать людей. Создалась цѣлая династія пушечныхъ королей, знаменитыхъ Крупповъ, создавшихъ изъ пушки національную и патриотическую нѣмецкую промышленность. И какая радость царилъ въ этихъ кругахъ, когда Круппъ изобрѣталъ какую нибудь новую пушку, которая убивала лучше прежнихъ. Потирали радостно руки промышленники крови и желѣза въ ожиданіи новыхъ заказовъ, радовались патриоты своего отечества, а Европа съ тревогой прислушивалась къ этимъ толкамъ о новыхъ нѣмецкихъ пушкахъ и развязывала кошель на новыя милліардныя траты.

Этотъ кошмаръ милитаризма шелъ, несомнѣнно, отъ Германіи.

Въ Германіи былъ сотворенъ кумиръ изъ пушки, какъ опоры и надежды всей страны. И всѣмъ государствамъ солоно приходилось отъ нѣмецкаго милитаризма. Но милитаризмъ этотъ не только вытягивалъ изъ всѣхъ странъ силы и средства, но и опошлялъ и огрублялъ народные нравы, отравлялъ народную культуру. На всю Германію былъ напаянъ солдатскій мундиръ, легла печать казармы, грубой солдатчины. Это накладывало печать не только на нѣмецкую, но и на всю европейскую жизнь. И распространяющійся изъ Германіи духъ солдатчины послужилъ одною изъ главныхъ причинъ озлобленія Европы противъ нѣмцевъ. Солдатчина вела къ крайнему огрубѣнію нравовъ, задерживала развитіе внутренней утонченной культуры, принижало духовное творчество, засушивающее дѣйствовала на развитіе наукъ, искусства, вообще, на всякаго рода безкорыстное творчество. Но, кромѣ этого, нѣмецкая солдатчина служила опорой юнкерской реакціи.

Опираясь на грубую силу штыковъ, нѣмецкіе юнкера господствовали въ официальной Германіи, несмотря на всю свою малочисленность и несмотря на ненависть къ нимъ со стороны широкой народной массы Германіи.

Горсть нѣмецкихъ юнкеровъ, обладая большими земельными владѣніями въ восточной Пруссіи, занимая руководящія части въ

военномъ мірѣ и высшей бюрократіи, имѣя политическую цитадель въ прусскомъ ландтагѣ, являлась въ Германіи ярою сторонницею реакціоннаго курса. Для этой горсти юнкеровъ «настоящими» людьми, людьми голубой крови и бѣлой кости были лишь военные и помѣщики, весь же остальной народъ былъ лишь матеріаломъ для военныхъ и бюрократическихъ экспериментовъ. И нѣмецкая военщина находила себѣ въ этой малочисленной, но вліятельной общественной группѣ могущественную поддержку. Въ свою очередь, она и имъ оказывала таковую же. Прусскій милитаризмъ и прусское юнкерство находились и находятся въ неразрывной родственной связи. И ударъ по одному изъ нихъ будетъ больно почувствованъ другимъ. Не нанеся рѣшительнаго удара одному изъ нихъ, нельзя покончить и съ другимъ. И вотъ это та прусская солдатчина, прусская казарменность, накладывающая свой отвратительный, тяжелый отпечатокъ на всѣ отрасли и стороны прусской жизни и отсюда распространяющаяся на всю Европу этотъ культъ пушки, создающій культъ грубой силы и принижающій духовное творчество, все это рождало вокругъ Германіи все растущую массу недовольныхъ и раздраженныхъ враговъ. И нынѣшняя война показала, какъ велико это число враговъ Германіи, сколько накопилось во всей Европѣ озлобленія противъ нѣмцевъ.

Но война тѣмъ плоха, между прочимъ, что она создаетъ сплошныя слитыя настроенія, мѣшающія различать и раздѣлять. И нынѣшнее озлобленіе противъ Германіи готово заслонить въ глазахъ озлобившихся культурную, трудящуюся, талантливую Германію, о существованіи которой готовы забыть.

А о ней надо помнить. Помнить надо, что отъ прусской солдатчины, отъ юнкерской реакціи страдаютъ и сами нѣмцы. Борьба съ этою реакціей неослабнѣетъ въ Германіи десятки лѣтъ, и мы знаемъ, какъ много сдѣлали сами нѣмцы для того, чтобы обуздать прусскихъ юнкеровъ.

Германія сама руками своего трудящагося класса создала себѣ и экономическое богатство и культурныя цѣнности. Какъ ни гнетуще дѣйствовалъ и дѣйствуетъ грубый культъ пушки и казармы на всю духовную жизнь Германіи, но кто же все-таки станетъ отрицать, что

нѣмцы сумѣли въ короткій срокъ такъ высоко поднять и свою науку, и свою технику, и свои школы и свое сельское хозяйство. Трудомъ рукъ своихъ нѣмцы сумѣли создать богатую и просвѣщенную страну. Правда и тутъ сыграли свою роль миллиарды контрибуціи, взысканной съ Франціи, и тутъ военная нажива послужила толчкомъ къ экономическому расцвѣту, но, несмотря на все это, мы должны знать и не забывать, что существуютъ двѣ Германіи. Одна Германія увѣрена, что не только „Германія, Германія выше всего“, какъ гласитъ офиціальный гимнъ, но и они, помѣщики и лейтенанты, стоятъ выше всѣхъ въ самой Германіи. Это Германія помѣщиковъ, военныхъ и бюрократовъ. Она убѣждена, что призвана править Германіей и всѣмъ міромъ. Она признаетъ лишь культъ грубой силы. Пушки и казармы—ея прибѣжище и сила. Внутри страны убѣждены они, что „противъ демократовъ помогаютъ лишь солдаты“—„gegen Demokraten helfen nur soldaten“.

И этихъ же солдатъ теперь двинуть противъ всѣхъ странъ, осмѣлившихся не подчиниться гегемоніи Германіи въ Европѣ.

Сломить эту Германію, нанести ей рѣшительный и сокрушительный ударъ, это значитъ оказать Европѣ громадную услугу, освободить ее отъ тяжелаго кошмара милитаризма, отъ власти державы, исповѣдовавшей и проповѣдовавшей культъ грубой силы.

Вотъ почему борьба противъ Германіи объединила въ Европѣ людей и народы самыхъ различныхъ положеній и убѣжденій. Въ одномъ чувствѣ ненависти къ Германіи слились и ненависть къ милитаризму, главнымъ штабомъ котораго является въ Европѣ Германія и боязнь, что побѣда Германіи поведетъ къ воцаренію въ Европѣ прусской солдатчины и реакціи.

Борьба съ этою солдатскою и реакціонною Германіей, несомнѣнно, въ интересахъ самихъ же нѣмцевъ, широкой народной массы Германіи. Внутренними силами германская демократія безсильна была сломить торжество милитаризма и реакціи. И теперь внѣшними силами, объединенными силами европейскихъ странъ, надо думать, будетъ положенъ конецъ росту и неистовству нѣмецкаго милитаризма. А съ этимъ вмѣстѣ долженъ измѣниться и ликъ всей Европы. Милитаризмъ вытягивалъ изъ народовъ лучшія силы и огромныя сред-

ства. И то и другое должно теперь пойти на мирныя цѣли и средства. Огромный притокъ силъ и средствъ отъ милитаристическихъ задачъ къ мировымъ, штатскимъ не можетъ не отразиться самымъ благодатнымъ образомъ на ростѣ богатства и культурной независимости всѣхъ народовъ. Но этого мало. Промышленность крови и желѣза для своего существованія, какъ лампа въ керосинѣ, нуждалась въ раздуваніи и разжиганіи націоналистической травли и вражды. Для того, чтобы обезпечить себѣ жирные заказы, эта промышленность изобрѣтала и раздувала національныя столкновенія и недоразумѣнія и этимъ кормилась.

И, если великой войнѣ суждено вырвать когти у европейскаго милитаризма, то этимъ самымъ будетъ нанесенъ чувствительный ударъ и тѣмъ, кто живетъ, сѣя національную вражду. Въ итогѣ устранения неистовства милитаризма должны сгладиться и многія національныя тренія и столкновенія.

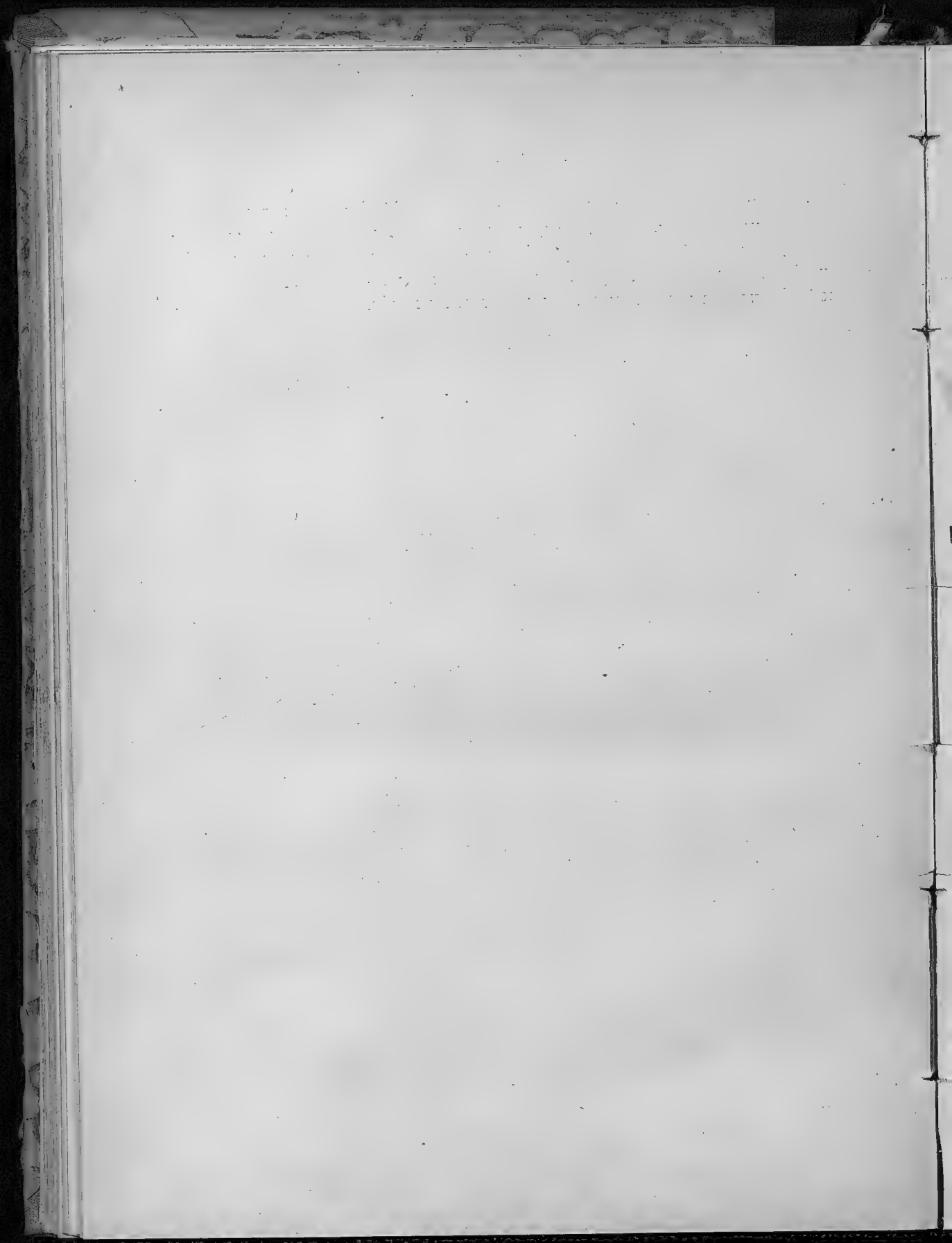
Достигнувъ зенита своего развитія, милитаризмъ объявляетъ войну милитаризму. Онъ начинаетъ отрицать самого себя. И въ этомъ отрицаніи милитаризма милитаризмомъ одно изъ великихъ заданий нынѣшней войны.

Но для того, чтобы заданіе это было выполнено, надо, чтобы тѣ народы и страны, которые участвуютъ въ борьбѣ съ Германіей не были, въ свою очередь, ослѣплены національною ненавистью къ «нѣмцамъ», чтобы борьба эта велась во имя и подъ знакомъ культуры.

Ни вандализмъ нѣмцевъ, ни ихъ жестокости не должны бы—и надо надѣяться, этого не будетъ—лишить союзныя арміи военнаго преимущества—сознанія, что война съ Германіей ведется въ имя культуры.

Если коалиція державъ озлобила нѣмцевъ и заставила даже тѣхъ изъ нихъ, которые сами всегда вели борьбу съ милитаризмомъ и реакціей, потерять голову и дать себя увлечь шовинизму, то все же нельзя забывать, что существуютъ двѣ Германіи. И той Германіи, трудами рукъ и ума которой созданы наука, искусство, промышленность, создана культура, что въ ихъ же интересахъ обезоруженіе прусскаго юнкерства.

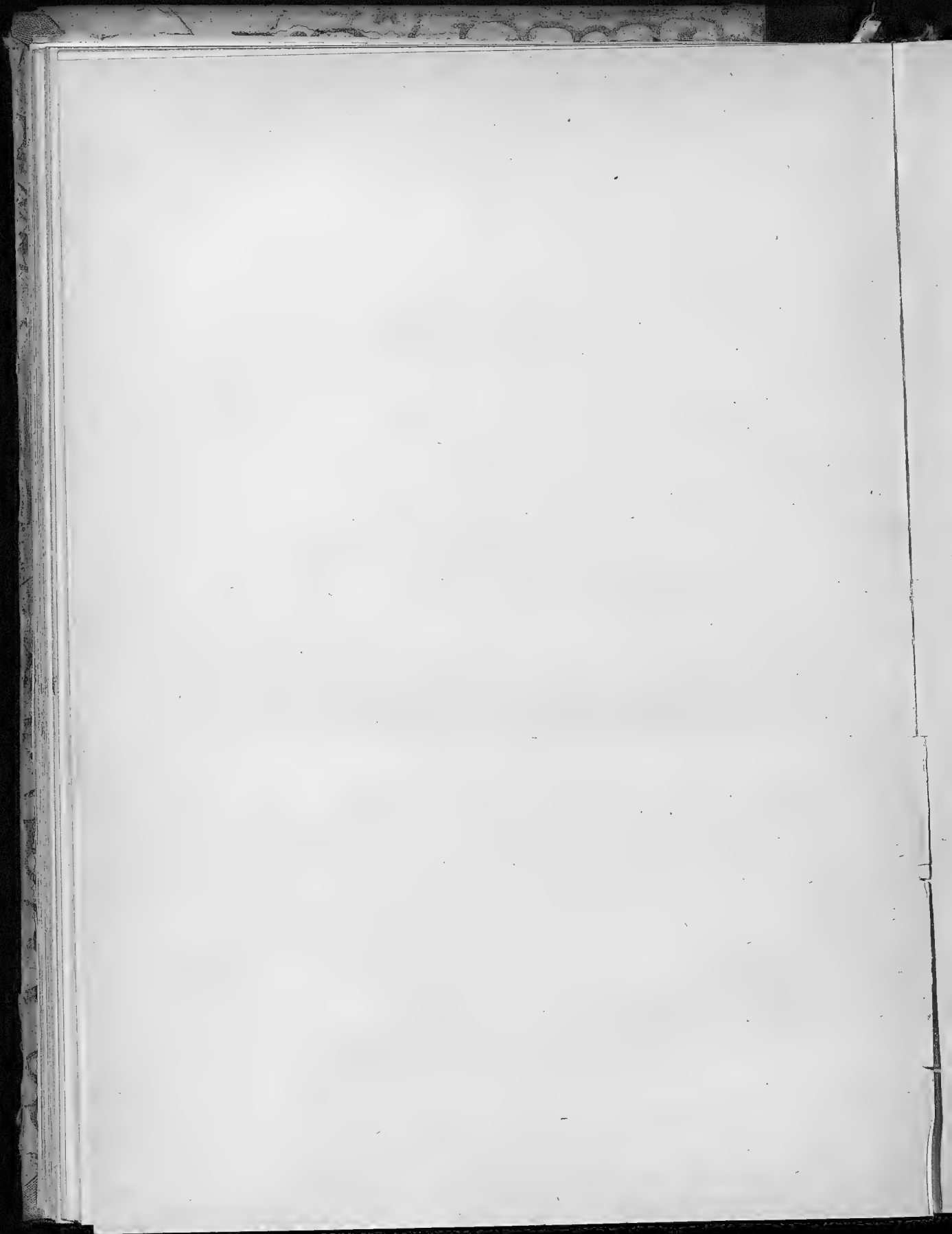
· Европа находится на порогѣ великихъ событій. И какъ ни тяжки приносимыя жертвы, какъ ни велико число тѣхъ, которые отдають свою жизнь въ борьбѣ съ Германіей, все же велико и высоко сознание, что являешься современникомъ величайшихъ историческихъ событій, что на твоихъ глазахъ совершается исторія.





Н. САМОКИШЪ.

КАЗАКЪ.



М. МОРАВСКАЯ

РАДОСТИ ГРОМКОЙ НЕ НАДО.

Упало четыре труп
Съ подбитого аэроплана,
И люди глядѣли тупо
На ихъ мундиры странные,

На ихъ глаза стеклянные.
Моторъ задышалъ съ перебоями,
Шумно, какъ тяжело больной
И, по небу слабымъ летомъ,

Напрасно пытаюсь скрыться,
Металась стальная птица
Съ раненымъ на смерть пилотомъ.
Убито четыре врага,

Но кликовъ не слышно шумныхъ.
Смерть близкая слишкомъ строга,
Взоръ мертвыхъ такой безумный...
Что они видѣли, падая!..

Радости громкой не надо.

К. ТЕТМАЙЕРЪ

НА ПОЛѢ БИТВЫ.

(Изъ романа „Игра волнъ“ переводъ съ польскаго).

Нѣмецъ не первый панъ міра, какимъ ему хочется быть, а первый хамъ міра, какимъ его всѣ считаютъ.

К. Тетмайеръ,

Мечиславъ Гвоздзикъ съ бьющимся сердцемъ стоялъ въ рядахъ.

Наступалъ великій день.

Съ сѣвера, востока и запада къ берегамъ Дуная поѣзда привезли огромную армію; она должна противостоять побѣдоносному шествію соединенныхъ славянъ къ венгерской столицѣ. Не защищать Будапештъ, а въ наступительномъ движеніи гордо, самоувѣренно побѣдить славянскія войска, а послѣ занять Кроатию, Далматію, Боснію, Болгарію и союзническую Румынію надъ Шпре. Отъ Балтійскаго моря, Варты, Одера, Эльбы, Мозеля, Рейна, Вислы и Дуная шли нѣмцы съ громкимъ восторженнымъ пѣніемъ «Deutschland! Deutschland ueber alles!» и шли въ украшенныхъ шлемахъ и шапкахъ за Раабъ въ горы, опирающіяся на Муру и Болотное Озеро. Тамъ они хотѣли преградить путь отъ Загреба къ Будапешту.

Съ бьющимся сердцемъ стоялъ въ строю Мечиславъ Гвоздзикъ.

Тамъ, въ Краковѣ, на Крупничной улицѣ мастеръ Шелонекъ въ разстегнутой рубахѣ, съ косматой желтой головой и въ спадающихъ брюкахъ, кроилъ одежды «для пановъ изъ агрономіи и одного богатаго еврея, у котораго была лавочка, ибо евреи къ нему бросились», и жаловался, что лишился такого «хорошаго и честнаго» работника. Онъ же, Мечиславъ Гвоздзикъ, написавъ прощальное письмо матери, снялъ наперстокъ, отложилъ въ сторону ножницы и какимъ-то образомъ пробрался за границу въ лагерь Поляна.

По немъ стрѣляли, но онъ удралъ.

Онъ былъ волонтеромъ. Его поставили въ третій полкъ пѣхоты, во второй батальонъ первой компаніи. Онъ сразу научился столько, сколько нужно было для того, чтобы слушать, стрѣлять, убивать и погибнуть.

Солдаты говорили исключительно о новоназначенномъ республиканскимъ правительствомъ военоначальникѣ Полянѣ. Его вызвали изъ Америки на время военныхъ дѣйствій; не довѣряли ему, но не кѣмъ было замѣнить. Онъ прибылъ на англійскомъ пароходѣ, бросивъ постройку моста, на которомъ работалъ въ качествѣ инженера.

Все такой же,—сильный, красивый, стройный и повелѣвающий. Ему не дали полка, ибо во времена короля Андрея онъ былъ лишь капитаномъ, но на время войны онъ былъ назначенъ главноначальствующимъ, такъ какъ знали, что этотъ человекъ или погибнетъ, или побѣдитъ, но не отступить, не испугается. Не на его идеи надѣялись,— о томъ, что у него не было идей, всѣ знали,— но хорошо знали его внутренній императивъ борьбы, его жажду боя и побѣды.

— Возьмемъ его,—говорилъ въ Спалато адвокатъ Ювановицъ *), членъ южно-славянскаго правительства,—а то онъ прійдетъ и станетъ противъ насъ... Ему все равно съ кѣмъ, только бы драться, только бы предводительствовать и идти впереди, во главѣ...

Полянь прїѣхаль, а войска встрѣтили его восторженно, помня объ его прежнихъ побѣдахъ.

Впервые дрожа, волонтеръ Гвоздиковъ, портновскій подмастерье Шалонка въ Краковѣ, смотрѣль, какъ побѣдитель Италіи подъ Венеціей и Катарро, сидя на гнѣдой лошади, принималъ рапорты ночныхъ развѣдчиковъ.

Потомъ наступила минута разговора съ генералами. Гвоздикъ смотрѣль на Поляна и ничего вокругъ себя не видѣль. Полянь повернулъ лошадь и началъ уѣзжать вглубь, штабъ за нимъ вдругъ, какъ пуля въ ухо надъ нимъ раздался голосъ капитана: «Смирно! Маршъ!»

Не было времени думать о томъ, когда эта команда свыше раздалась; Гвоздикъ уже шелъ въ строю все скорѣе, скорѣе и скорѣе.

Гвоздикъ не зналъ, куда онъ идетъ; находясь въ строю, онъ дѣлалъ то же, что и всѣ, т.-е. когда видѣль, что всѣ прибавляютъ шагу, въ свою очередь прибавлялъ шагу и самъ. Онъ одно лишь понималъ что его вывели за окопы лагеря и что его ведутъ на врага. Онъ сжималъ въ рукѣ винтовку и маршировалъ разъ, два, разъ, два въ бѣшеномъ шагѣ форсированнаго марша. Кровь въ немъ разыгралась, голова горѣла.

Правильность строя пропала, солдаты вошли въ горы, потомъ на свѣже вспаханное широкое поле. «Стой!»—крикнулъ капитанъ. Гвоздикъ, какъ и всѣ, остановился. Еще одно слово команды—и Гвоздикъ началъ окапываться висѣвшей у него сбоку лопаткой. Онъ выкопалъ яму и окружилъ валомъ и впервые издали услышалъ пушки.

— Уже... начинается, — шепнулъ кто-то около него.

Гвоздикъ оглянулся: между нимъ и его товарищемъ по строю, горцемъ изъ-подъ Себеницы, на землѣ съ биноклемъ лежалъ молодой поручикъ, сербъ, Юрій Петровичъ; поодаль находились двое волонтеровъ, капраль-дезертиръ Тавличекъ и словакъ изъ Липтова Кохутъ Андрейко.

Это поручикъ шепталъ.

Пушки гремѣли гдѣ-то вдали на нѣсколько миль. Гвоздзикомъ овладѣло пріятное чувство, что опасность такъ далеко...

Когда онъ былъ въ лагеряхъ, его вмѣстѣ со всѣми волонтерами такъ муштровали, что не было времени о чемъ-нибудь подумать. Въ двѣ недѣли онъ долженъ былъ познакомиться со службой, винтовкой и приемами сраженія. Потомъ онъ вдругъ узналъ, что на другой день утромъ ему придется идти сражаться. Съ вечера онъ написалъ письмо къ матери, а потомъ, когда легъ, началъ молиться, но вскорѣ заснулъ, и ничего ему не снилось. Его разбудили еще ночью. Онъ вскочилъ, умылся въ ручьѣ, одѣлся и впервые получилъ приказаніе зарядить ружье, чтобы стрѣлять въ людей.

Это было странное чувство. Дрожащими руками, съ какимъ-то туманомъ на глазахъ онъ всовывалъ магазинъ съ пятью патронами въ открытую винтовку. Эти пять патроновъ, эти пять металлическихъ пуль въ мѣдныхъ гильзахъ, пять патроновъ, тихихъ, блестящихъ, спокойныхъ, какъ-будто сонныхъ, вызвали въ немъ неописуемые, невѣдомыя волненія, изумленія, страхъ. Ему показалось, что впервые дѣлаетъ что-то совсѣмъ другое, чѣмъ-то, что дѣлалъ столько разъ въ продолженіе двухъ недѣль, когда его учили со второго уже дня стрѣлять дѣйствительными патронами. Онъ заряжалъ, мѣрилъ, натягивалъ курокъ, въ концѣ концовъ уже не видѣлъ патроновъ и не слышалъ выстрѣловъ, какъ кузнецъ не видитъ клещей и не слышитъ стука молота, хотя и работаетъ съ ними. Это была уже жизнь. Патроны не были ни теплыми, ни холодными, винтовка не была чѣмъ-то страшнымъ. Въ моментъ заряженія винтовки патроны обжигали холодомъ, винтовка казалась Гвоздзiku чѣмъ-то ужаснымъ, чуждымъ, чудовищнымъ. Если до сихъ поръ винтовка была вещью, предметомъ, кускомъ дерева со стальнымъ дуломъ,—вещью, зависящей отъ него, отъ его воли,—теперь Гвоздзiku казалось, что онъ становился зависимымъ отъ своей винтовки, что винтовка начала властвовать надъ нимъ, а онъ былъ лишь прибавленіемъ, ея слугой, но не господиномъ. Это винтовка шла сражаться, шла драться и убивать,—онъ, восемнадцатилѣтній Мечиславъ Гвоздзикъ

изъ Добчиць, долженъ былъ только нести ее, прицѣливаться, нажимать курокъ и выбрасывать использованный магазинъ... и могъ погибнуть.

Когда построился фронтъ, выѣхалъ генеральный штабъ и все вниманіе Гвоздзика привлекъ къ себѣ полководецъ, сидящій на гнѣдомъ конѣ, Збигневъ Полянъ. И когда онъ по командѣ отдалъ ему честь, казалось, винтовка окаменѣла въ его рукахъ. Да, это былъ господинъ его и его оружія. Патроны изъ патронтажа должны были слушаться его.

Ему казалось, что мысль объ этомъ господствѣ была видна на лицѣ Поляна, что когда онъ выслушивалъ офицеровъ и командовалъ, то прежде всего господствовалъ.

И молодой Гвоздикъ изъ Добчиць почувствовалъ себя маленькимъ въ сравненіи съ этимъ генераломъ. Чувство какой-то невыразимой любви къ генералу овладѣло имъ. Чувство, похожее на чувство къ отцу, когда на нихъ въ Добчицахъ бросилась собака рѣзника. Тогда еще четырнадцатилѣтнимъ мальчикомъ Гвоздикъ сжималъ въ рукахъ поднятый съ земли пруть, но полагался на отца, вѣрилъ въ его силу, его власть надъ нападающей собакой и надъ нимъ самимъ.

«Нѣмцы, чортъ ихъ возьми, боятся его»,—подумалъ онъ.

Потомъ, когда ихъ повели маршемъ, что-то съ быстротой молніи пронеслось черезъ мозгъ Гвоздзика. Это были не мысли, а огни. При каждомъ шагѣ въ головѣ загоралось пламя... Разъ, два! Разъ, два! Вдругъ скомандовали: «Стой!» Гвоздикъ остановился и испугался.

Дрожащими отъ страха руками онъ снялъ изъ-подъ куртки лопатку, началъ рыть яму и насыпать валъ; онъ бы заплакалъ отъ неудержимаго страха, но стыдился товарищей.

Какъ легко ему стало на сердцѣ, когда онъ услышалъ этотъ далекій гулъ пушекъ!

Можетъ-быть, сраженіе совсѣмъ не дойдетъ до нихъ...

Пока издали слѣва приблизится сраженіе, будетъ уже, должно-быть, все кончено... Ахъ! Но если нѣмцы побѣдятъ!..

Мсчиславъ Гвоздикъ сжалъ зубы и винтовку въ рукахъ,

когда шаговъ на сто отъ него упала граната; огонь, дымъ, взрывъ и стоны наполнили воздухъ...

— Черти! Нашли насъ!—шепнулъ поручикъ.

Въ одинъ мигъ, по приказанію, Гвоздзикъ вышелъ изъ своей ямы,—опять вошли на возвышенности, влѣзли на нихъ и опять приказано было копать ямы.

Разъ за разомъ вдали раздавались раскаты пушекъ... ихъ искали. Гранаты, падающія сначала на ихъ прежнія позиціи, начали теперь летать надъ ихъ головами.

— Удалось имъ все-таки!—шепнулъ поручикъ Петровичъ.— Теперь насъ не скоро найдутъ.

Гранаты летали надъ головами.

Вдали съ возвышенности видно было сверкающее при восходѣ Болотное озеро. Небо было чистое, голубое, безъ тучъ. Какъ далеко отсюда были Добчицы!.. Материнскій лотокъ съ булками и хлѣбомъ... Домъ пана судьи Сцибора..

Вдругъ поручикъ, до половины поднимаясь съ земли, крикнулъ: «Вниманіе!» и указалъ рукой вдаль.

Гвоздзикъ началъ всматриваться: тамъ... тамъ, что-то двигалось.

— Пли!—скомандовалъ Петровичъ.

Гвоздзикъ вздрогнулъ, во рту у него сдѣлалось какъ-то горько и сухо, онъ прижалъ къ рукѣ винтовку, увидѣлъ конецъ дула съ прицѣломъ, закрылъ глаза и выстрѣлилъ.

— Пли! Пли!—повторилъ поручикъ Петровичъ.

Гвоздзикъ стрѣлялъ съ закрытыми глазами, какъ въ туманѣ, выпустилъ пять пуль.

Стрѣляли. Онъ открылъ глаза и началъ поспѣшно заряжать, дрожа до мозга костей.

Вдругъ земля засыпала ему лицо. Это пуля ударилась въ его охранительный валь.

Ему хотѣлось вынуть ее и увидѣть... Онъ сразу вообразилъ ее себѣ зарытой въ землю, мертвой, безсильной въ валу.

Это онъ велѣлъ копать валы, онъ, Полянъ...

Все военное искусство для Гвоздика было въ немъ, въ вождѣ...

Вдругъ онъ обеезумѣлъ отъ злобы. Въ него стрѣляли, хотѣли убить. Нѣмцы, нѣмецъ... матери...

Онъ прицѣлился, не вздрогнулъ, выстрѣлилъ.

Разъ, два, три, четыре, пять... Пулю за пулей онъ посылалъ въ ту сторону, гдѣ видѣлъ двигающуюся ленту непріятеля.

Поручикъ смотрѣлъ въ бинокль.

— Хорошо! Хорошо, поляжъ!—закричалъ онъ.—Ты убилъ офицера, который хотѣлъ встать.

— Я не зналъ,—хотѣлъ отвѣтить Гвоздикъ, но языкъ какъ-то прилипъ къ небу, и онъ только буркнулъ.

Когда онъ, привыкнувъ къ огню и опасности, посмотрѣлъ вокругъ, то увидѣлъ, что со всѣхъ возвышенностей стрѣляла пѣхота, а изъ-за нея пушки.

Къ поручику Петровичу подползъ капитанъ и среди шума сказалъ:

— Всей силой пруть на насъ. Не знаю, выдержимъ ли.

— Хотятъ обойти насъ?

— Да. Со стороны озера.

Вдругъ адъ разверзся надъ головой Гвоздика. Гранаты нашли славянскихъ солдатъ на возвышенностяхъ. Земля, какъ пламенная пыль, подскакивала въ воздухъ. Огонь и свинецъ засыпали возвышенности... Во второй разъ Гвоздикъ услышалъ приказъ отступать.

Онъ посмотрѣлъ на поручика. Поручикъ былъ блѣденъ и изумленъ. Рядомъ громко ругался капраль.

Въ сердцѣ Гвоздика зародилась страшная мысль: неужели Полянтъ, главный полководецъ, не сумѣетъ?..

Не было времени размышлять, когда съ возвышенностей сошли въ оврагъ и отошли немножко въ сторону отъ гранатъ, полкъ получилъ приказаніе отступать по всей боевой линіи и уйти направо, что и было быстро исполнено.

Гвоздикъ слышалъ, какъ капитанъ говорилъ во время отступления поручику:

— Мы потеряли позицію.

— Куда мы теперь идемъ?

— Не знаю...

Въ глазахъ Гвоздзика открылась темная пропасть. Если капитанъ не знаетъ...

Они отступали за возвышенностями, охраненные отъ непріятеля.

Гвоздикъ шелъ недалеко отъ полковника, который ѣхалъ на конѣ. Вдругъ офицеръ штаба галопомъ подскочилъ къ полковнику, давая знакъ остановиться. Всѣ остановились. Офицеръ недолго поговорилъ съ полковникомъ, сѣдымъ, загорѣлымъ, черноокиимъ хорватомъ, тотъ поднялся на сѣдлѣ, стоя въ стремяхъ, и крикнулъ:

— Ребята! Кто хочетъ!! Сто человѣкъ!

Мечиславъ Гвоздикъ... вѣдь онъ былъ волонтеромъ... кто хочетъ, это значить куда-нибудь на смерть, если зовутъ такъ... Во имя Отца и Сына...

— Я!—крикнулъ онъ.

— Я! Я!—закричали другіе.

— Впередъ!

Но воодушевленіе овладѣло всѣмъ батальономъ, когда всѣ услышали приказъ полковника... всѣ!

— Гдѣ первые откликнулись?—крикнулъ полковникъ.

— У насъ!—отвѣтили ему изъ первой роты второго батальона.

— Ну, такъ маршъ! Дополнить, если убиты, изъ другой роты!

И, обратившись къ капитану, онъ указалъ на заросшее кустами возвышенное мѣсто.

— Ползти! Прибавить сто шаговъ!

Съ остальной частью полка онъ пошелъ дальше. Офицеръ штаба галопомъ вернулся туда, откуда пріѣхалъ.

— Извѣстно тебѣ что-нибудь? Ничего!—бормоталъ капралъ сзади Гвоздзика.

Поспѣшно начали взбираться на возвышенность сначала идя, потомъ на колѣняхъ, а потомъ ползкомъ, подобно змѣямъ. Гвозд-

зикъ разорвалъ мундиръ и брюки, кровь текла изъ разрѣзанной кремнемъ лѣвой руки, онъ пробирался между кустами и, наконецъ, вылѣзъ на площадку на возвышенности.

— Пстѣ! Пстѣ! Пстѣ! — шептали сержанты.

— Извѣстно тебѣ что-нибудь? — снова заворчалъ капралъ уже не сзади, а рядомъ съ Гвоздикомъ въ заросляхъ.

Съ другой стороны лежалъ поручикъ Петровичъ.

Пыль поднималась на простирающемся за возвышенностью пастбищѣ. Кто-то приближался, какія-то непріятельскія войска. Сердце Гвоздика сильнѣе забилося.

Разглядѣлъ. Изъ пыли показались сначала копья, потомъ первые мундиры. Рысцой приближались прусскіе уланы.

Впереди ѣхалъ полководецъ, навѣрное, полковникъ, на каштановой лошади, за нимъ трубачъ на бѣлой, офицеры; потомъ изъ пыли показался первый рядъ, восьмеркой, ибо мѣсто было широкое, потомъ второй, третій...

Въ утреннемъ солнцѣ заблестѣли копья, шашки, мундштуки у лошадиныхъ мордъ... Они ѣхали такъ, словно не было никакой опасности.

Поручикъ Петровичъ шепнулъ Гвоздику:

— Полякъ... Смотри... тамъ... здѣсь вѣрная смерть... Живымъ не уйдешь...

Гвоздикъ поднялъ глаза; противъ, недалеко, за уланами, тоже на возвышеніи стояли пушки. Тамъ, гдѣ былъ Гвоздикъ, не нужно было искать, высчитывать угла подъема... можно было стрѣлять на-глазъ. Кусты закрыли незамѣтное вхожденіе сотни волонтеровъ.

Это, навѣрное, онъ, Полякъ, военачальникъ, высмотрѣлъ въ бинокль движеніе кавалеріи и послалъ офицера, чтобы кто хочеть... на вѣрную гибель...

Уланы находились шагахъ въ шестистахъ, пятистахъ, четырехстахъ...

Гвоздикъ лежалъ около винтовки, сжималъ ее руками, думая о Добчицахъ и матери и хотѣлъ протянуть и пожать руку

поручику. Онъ притаилъ дыханіе. Ахъ! Пожать выше локтя руку офицеру...

Уланы ѣхали, все это были здоровые парни на каштановыхъ лошадяхъ, копыта были подняты надъ головой и спущены къ колѣнямъ.

Куда они ѣхали, зачѣмъ,—Гвоздикъ не зналъ. Заросли закрывали видъ.

Передъ нимъ было большое пустое пространство — пастбища.

«Можетъ-быть, тамъ находятся и наши,—промелькнуло въ головѣ Гвоздика.

Приближался первый эскадронъ. Восмерка за восьмеркой. Слышенъ былъ топотъ ногъ и лязгъ. Имъ позволили пройти возвышенности и расположиться вдоль зарослей.

Вдругъ поручикъ Петровичъ пожалъ руку Гвоздика.

— Полякъ!—шепнулъ онъ.

Вдругъ: «Пли!»—раздался голосъ капитана. Гвоздикъ, прицѣлившись въ ротмистра, находящагося ближе всего, нажалъ курокъ. Раздался залпъ. Сто, или даже пятьсотъ выстрѣловъ въ одинъ мигъ. Лошадь ротмистра, раненная гвоздиковой пулей въ задъ, встала на дыбы и сбросила сидящаго на ней. Страшный крикъ наполнилъ воздухъ. Уланы смутились, пораженные огнемъ. Цѣпь прервалась. Въ смущеніи начался переполохъ, давили другъ друга. Люди и кони падали прямо-таки, пораженные пулями. Полкъ разбился, рассыпался, перемѣшался. Гвоздикъ зарядилъ винтовку наново, когда заблестѣлъ свинецъ пушекъ съ противоположныхъ возвышенностей.

— Полякъ!—крикнулъ во второй разъ поручикъ Петровичъ, сжимая руку Гвоздика, но это пожатіе было какое-то иное, какое-то страшное. Гвоздикъ въ изумленіи повернулъ голову. Поручикъ Петровичъ, раненый осколкомъ гранаты въ лобъ, упалъ навзничъ, простоналъ и умеръ.

— Внизъ!—скомандовалъ капитанъ вскакивая съ мѣста и въ это же время упалъ. Ему оторвало голову и обѣ руки.

Гвоздикъ съ винтовкой въ рукахъ бѣжалъ впередъ, пере-

скакивалъ съ ноги на ногу такъ, что даже все подпрыгивало у него въ животъ. Спустя минуту онъ увидѣлъ, что былъ одинъ— за нимъ никто не бѣжалъ.

У подножія возвышенностей, закрытый отъ пушекъ, ожидалъ начальникъ баталіона. Вышла сотня, сошло тридцать семь, одиннадцать здоровыхъ.

Среди этихъ одиннадцати былъ и Гвоздикъ.

Ихъ послали вмѣстѣ съ перебитымъ полкомъ въ задъ боевой линіи, гдѣ до вечера Гвоздику не пришлось поднимать винтовки къ глазу. Вечеромъ ихъ отвели еще дальше въ горы, къ лагерю, чтобы они могли отдохнуть послѣ боевого дня.

Около десяти Гвоздика и его товарищей позвали съ рапортомъ.

Стояли: полковникъ, нѣсколько офицеровъ и адъютантъ генеральнаго штаба. Полковникъ выступилъ впередъ съ бумагой въ рукахъ и скомандовалъ:

— Смирно!

Одиннадцать здоровыхъ и девятеро легко раненыхъ въ первой ротѣ вытянулись какъ струны.

Полковникъ поднялъ бумагу къ свѣту факела, который держали за нимъ, и началъ читать фамиліи солдатъ первой роты, потомъ тѣхъ, которыхъ туда прибавили.

На первыя семь по алфавиту фамилій никто не отвѣчалъ.

Потомъ начали отзываться отдѣльные голоса: «Здѣсь!»

Всѣхъ вмѣстѣ было двѣнадцать; восьмидесяти солдатъ и двоихъ офицеровъ не хватало.

— Ребята!—сказалъ тогда полковникъ.—Вы задержали атаку кавалеріи, которая хотѣла пробраться между горами и, слѣзши съ коней, напасть на насъ сбоку, разбить насъ по всему фронту праваго крыла и ослабить фронтъ. Главнокомандующій замѣтилъ и понялъ движеніе непріятеля и его планы; въ награду за ваше мужество онъ присылаетъ вамъ черезъ своего адъютанта каждому въ отдѣльности крестъ за храбрость. Тяжело раненымъ кресты эти будутъ отданы въ лазаретъ, а вашъ подвигъ и ваши фамиліи будутъ объявлены въ дневномъ приказѣ по арміи.

Послѣ этого полковникъ каждому изъ нихъ надѣлъ стальной съ золотыми посрединѣ буквами Ю. С. Р.,—Южно-Славянская Республика,—оксидированный крестъ и подалъ руку, а всѣ офицеры и адъютантъ генеральнаго штаба, сидя на коняхъ, взяли подъ козырекъ.

Потомъ сержантъ скомандовалъ: «Смирно! Налѣво!» и отвелъ награжденныхъ къ мѣсту отдыха.

У Гвоздзика кружилась голова. Кружилась до самаго разсвѣта отъ перваго выстрѣла. Онъ чувствовалъ это, но не было времени обратить на это вниманіе. Онъ съѣлъ кусокъ колбасы, которую ему дали, выпилъ рюмку водки и легъ на землю, положивъ голову на сумку.

Ночь была темная и пасмурная; клонилось къ дождю; но время-отъ-времени огромные непріятельскіе рефлекторы или разстилались заревомъ по небу, или посылали свои лучи въ непріятельскій лагерь.

Пушки гремѣли и слышенъ былъ безпрестанный трескъ ружей.

Солдаты третьяго полка пѣхоты, закрытые возвышенностями, отдыхали.

У Гвоздзика кружилась голова... Какъ далеко были Добчицы, избенка матери, ея лотокъ на добчицкомъ рынкѣ и домъ пана судьи Сциборы!.. Какъ далеко была портновская мастерская портного Шалонка съ косматой желтой головой, въ спадающихъ брюкахъ!

Гдѣ же это онъ, Мечиславъ Гвоздзикъ, былъ? Онъ лежалъ на голой землѣ, на сумкѣ, въ венгерской странѣ, гдѣ-то около Болотнаго озера послѣ сраженія, съ крестомъ на груди за храбрость, а фамилію его, восемнадцатилѣтняго Мечислава Гвоздзика, знаетъ самъ главнокомандующій и будетъ знать вся армія, сотни тысячъ людей... онъ не зналъ сколько всего... Самъ «оберстъ» подалъ ему руку... И онъ—герой.

Когда Гвоздзикъ впервые услышалъ, что вспыхнула война, то рѣшилъ сейчасъ же пойти волонтеромъ. Когда его привезла

мать изъ Добчиць, онъ растерялся и недѣлями самъ не свой бродилъ по Кракову.

Вотъ какая-то старая одинокая башня съ черной птицей на верхушкѣ надъ новымъ зданіемъ съ солдатами, тамъ какой-то камень, около котораго горять лампочки, въ другомъ мѣстѣ огромное зданіе, Сукенницы, высокій до неба костель съ двумя башнями, съ огромной фигурой, окруженной другими фигурами... Онъ полѣзъ, увидѣлъ и засмотрѣлся на ворота изъ краснаго кирпича и каланчу передъ ними... Онъ видѣлъ огромныя стѣны, башни на берегу Вислы, вышелъ къ Замку, увидѣлъ костель, дворы, окна, пушки, возы, вошелъ въ толпу солдатъ, лейтенантъ ударилъ его по лбу и сказалъ: *Verfluchte polnische швинья!* Куда лѣзешь?!

Потомъ весной, въ воскресенье пошелъ по Блонямъ на холмъ Костюшки, влѣзъ на него и увидѣлъ столько пространства, какъ никогда... Это была польская Галиція, какъ его учили въ Добчицахъ...

Онъ слышалъ звонъ Сигизмунда въ Страстной четвергъ.

Такъ онъ росъ, чувствовалъ и думалъ... Ходилъ въ галерею на «Свадьбу» и наизусть училъ «Трилогію».

Соціалисты, товарищи, которые его завербовали, смѣялись надъ нимъ, говорили, что онъ—поэтъ и юродивый... Онъ, какъ сумасшедшій ходилъ по Кракову... Ему казалось, что онъ ходитъ во снѣ среди башенъ, звоновъ, подъ колоколомъ Сигизмунда, надъ Вислой...

Теперь же онъ былъ далеко черезъ Семиградіе и Румынію на Болотномъ Озерѣ, въ венгерской странѣ.

Тутъ онъ какъ бы проснулся отъ сна, ему казалось, что все, что ему снилось, было дѣйствительностью, реальнымъ...

У него на рукѣ винтовка, и онъ уже не Мечиславъ Гвоздзикъ, портновскій подмастерье, соціалистъ, юродивый и поэтъ, а волонтеръ и солдатъ, награжденный крестомъ за храбрость... Онъ вмѣстѣ съ товарищами отражалъ нападеніе прусской кавалеріи.

— О чемъ думаешь, портняга?—спросилъ Гвоздзика товарищъ по полку, полякъ, по профессіи землемѣръ.

— Да такъ себѣ думаю.

— Не знаю, не принесли ли насъ сюда дьяволы... Какъ думаешь, Василій Ивановичъ Кокошкинъ?—обратился онъ къ сосѣду.

— Да... Да... Не Кокошкинъ, а Куракинъ,—отвѣтилъ сосѣдь.— А почему?

— Потому, что я думаю,—сказалъ Крупинскій,—будь что будетъ, а намъ ничего не будетъ.. У насъ свое польское счастье... У меня есть семейные дневники, мы вѣдь дворяне и родовой гербъ у насъ съ орломъ... Еще у дѣда моего Викентія были двѣ деревни въ Августовскомъ уѣздѣ. У моего старшаго брата, который теперь состоитъ врачомъ въ Галиціи, есть дневники.. Дневникъ моего прадѣда начинался со словъ «съ вѣрой и надеждой», потомъ въ 18 лѣтъ начался «съ вѣрой и надеждой». Потомъ дневникъ моего дѣда въ тридцать первомъ году начинался «съ вѣрой и надеждой», но моего отца,—ему было шестнадцать лѣтъ, съдымъ онъ женился,—начинался «безъ вѣры и надежды».

— Да.. да..

— А я подумалъ себѣ: нѣтъ у меня бабы, нѣтъ дѣтей, а если и есть, такъ я ничего о нихъ не знаю, я дворянинъ, прадѣдъ мой сражался, дѣдъ, отецъ, пойду и я сражаться..

— А вы, Станиславъ Станиславовичъ, съ «вѣрой и надеждой»?—спросилъ Куракинъ.

— Не знаю.. Если бы была вѣра и надежда, тогда насъ больше было бы здѣсь. Во всемъ полку кромѣ меня и этого портняжки никого нѣтъ.. Можетъ быть, и во всей арміи нѣтъ.. Улановъ будетъ что-то около двухъ-трехъ офицеровъ-волонтеровъ..

— Вы и храбрость потеряли.. Я читалъ, какъ вы славно бывало дрались.. Ходкевичъ, Баторій, Радзивиль..

Крупинскій махнулъ рукой.

— Надоѣло мнѣ хамскія поля измѣрять,—сказалъ онъ немного спустя.—У моего дѣда тридцать плуговъ выѣзжали поле пахать, а я мужикамъ долженъ былъ измѣрять десятины.. Думаю: разъ мать родила.. немножко, другъ милый, съ вѣрой и надеждой, гораздо больше безъ вѣры и надежды пробрался черезъ границу и вотъ здѣсь съ винтовкой въ рукахъ. Стыдно, сынъ ула-

на... на лошади разъ только сидѣлъ, на маевкѣ въ третьемъ классѣ гимназіи. Учить меня здѣсь было некогда.

— Пессимистъ, а аристократъ—вотъ истинный полякъ,—сказалъ Куракинъ.

— Выйдетъ что,—ладно; не выйдетъ, такъ, можетъ быть, какъ чѣмъ-нибудь отличусь, не нужно будетъ быть землемѣромъ; убьютъ,—тоже нечего жалѣть... семейныхъ дневниковъ, рулетки землемѣрной и...

Онъ плюнулъ.

— А ты, Василій Ивановичъ, тебя какой лѣшій занесъ сюда?

— Меня?—отвѣтилъ Куракинъ.—Я служилъ въ городскомъ управленіи... такъ мнѣ, говорю тебѣ, братецъ, такъ все опротивѣло, что, ей-Богу, я стрѣляться хотѣлъ!

— Но дѣлалъ то же, что и другіе?

— Ничего не подѣлаешь, дѣлалъ,—отвѣтилъ Куракинъ.

Крупинскій засмѣялся.

— Да не могъ выдержать. Думаю себѣ: будь, что будетъ, какую дорогу увижу, по той и пойду, можетъ быть, въ эту душу принесу какую-нибудь каплю воды и вприсну... Огонь души чистилища чистить, пойду и я въ огонь, можетъ быть, и за мной кто-нибудь пойдетъ.

— Вотъ что, Василій Ивановичъ, если мы не побѣдимъ, такъ насъ всѣхъ славянъ черти возьмутъ! И васъ также!

— Не проглотятъ!

— Такъ пролихаютъ.

Тишина и глушь окутала міръ, несмотря на пушки, и мракъ спустился на землю, несмотря на рефлекторы.

— Смотри, Иванъ Васильевичъ,—сказалъ Крупинскій,—какъ сила вселенной дѣлаетъ свое дѣло... Эта война, битва, ничего... Ночь не обращаетъ на это вниманія. Наступаетъ и дѣлаетъ свое дѣло. Зачѣмъ все это? Не все ли равно? Дерется куча блохъ, стрѣляютъ другъ по дружкѣ, убиваютъ... зачѣмъ? Зачѣмъ? Міръ даже не знаетъ объ этомъ. Все пройдетъ, останется куча навоза, г... и больше ничего! Вотъ политика, патріотизмы, націонализмы, экономическіе вопросы, смыслъ существованія... вотъ «исторія».

Пушки гремѣли среди зарева рефлекторовъ; слышался трескъ винтовокъ.

Свѣжій вѣтеръ подулъ откуда-то съ Адриатическаго моря.

Около Гвоздика разговаривали два хорвата.

— Господинъ капраль, знаете, что завтра?

— Завтра?.. Война.

— Благодарю васъ, господинъ капраль, зналъ г..., теперь два знаю.

Гвоздику стало какъ-то тяжело.

Онъ ничего не зналъ. Завтра?.. Завтра?.. Завтра?..

Не только онъ ничего не зналъ, не только поручикъ капраль, но и офицера, какъ онъ слышалъ, говорили, что ничего не знаютъ.

Зналъ только онъ, главный начальникъ Полянъ.

Гвоздикъ глазами души, какъ на солнце началъ смотрѣть на него.

Вдругъ слышались ужасные, тяжкіе стоны, хрипъ и какіе-то шаги.

— Василий Ивановичъ, несутъ раненыхъ.

— Да, да... завтра, можетъ быть, и насъ также.

Опять заговорили хорваты.

— Господинъ капраль, а что тѣ раненые изъ первой роты, которые тамъ на горѣ? Которые кресты получили?

— Ну... сошли.

— Такъ это тѣ, что могли сойти, а тѣ, что не могли?

— Тѣ?

— Да!

— Ну... тѣ остались.

— Тамъ?

— Да, тамъ.

Минута молчанія.

— Господинъ капраль, вы знаете, они тамъ, можетъ быть, еще живы?

— Можетъ быть.

— Кому животъ разорвало или ноги искалѣчило... можетъ жить?

— Можетъ быть.

— Ихъ оставили?

— А кто же за ними поидеть? Въ этотъ адъ? Кто еще самъ могъ сойти, того взяли.

— А кто не сошелъ?

— Остался.

— Тамъ?

— Тамъ.

Опять минута молчанія.

— Господинъ капраль!..

— Что?

— Это вѣдь люди?

— Ну, да, люди.

— Ну, такъ какъ же такъ? Можетъ быть, они живы? Можетъ быть, мучаются?

— Война!

— Пойдемъ за ними? Искать?

— Куда?

— Туда.

— Туда?

— Они тамъ стонутъ, воды просятъ...

— Тамъ никого нѣтъ.

— То-то и оно!

— Смерть.

— Я иду.

— Безъ приказанія нельзя.

— Я доложу капитану.

— Капитанъ спитъ.

— Разбужу.

— Ты съ ума сошелъ, Мировичъ?

— Я съ ума не сошелъ; мнѣ ихъ жалко. Они тамъ барахтаются въ своихъ внутренностяхъ, ползаютъ, стонутъ...

— Пойду и я!—сказалъ Крупинскій, который, повидимому, услышалъ и понялъ разговоръ хорватовъ.

— Да, да, въ такомъ случаѣ и я...

— И я,—сказалъ Гвоздикъ.

— Господинъ капраль, пусть они идутъ съ нами къ капитану...

— Вы дураки... онъ не пустить...

— Пусть идутъ...

— Капраль всталъ, стукнулъ винтовкой.

— Не нужно оружія... Откуда взять носилки?—сказалъ Крупинскій.

Они встали и пошли; капитанъ не спалъ, а сидѣлъ на камнѣ, закутавшись въ пальто, положи голову на руки.

Капитанъ выслушалъ рапортъ капрала, всталъ и самъ пошелъ къ полковнику спросить.

Вскорѣ онъ вернулся съ отвѣтомъ: одѣтъ двадцать человѣкъ, взяты носилки, факелы и идти. Капраль пусть ведетъ.

— Живіо! Вивать! Ура!—закричали ожидающіе отвѣта.

Капитанъ велѣлъ встать двадцати солдатамъ, взяли факелы и пошли.

Попастъ на горы было легко,—освѣщали дорогу рефлекторы.

Пока они дошли, нѣсколько разъ докладывали о себѣ сторожевымъ постамъ.

Дошли. У подножія возвышенности головой внизъ лежалъ трупъ.

Гвоздикъ сразу его узналъ: это былъ сержантъ, у него была оторвана рука, сюда онъ приползъ, и здѣсь вытекла послѣдняя капля крови.

Дальше лежали двое; все тѣло ихъ было изранено.

— Живы?

Ничего, молчаніе. Умерли.

Вѣтеръ свистѣлъ въ кустахъ.

Глухой, изъ-подъ самага сердца-стонъ.

— Живеть!

— Да, да...

Нашли солдата съ разорванной грудью.

— Воды!—прошепталъ онъ.

Дали воды.

Хотѣлъ пить, захрипѣло въ груди.

— Не могу... жжетъ...

Умеръ.

По нѣскольку человѣкъ они разошлись по возвышенности съ носилками и факелами.

То туда, то сюда звали, то здѣсь, то тамъ слышались стоны.

Одинъ раненый въ голову, замѣтя ихъ, началъ ругаться:

— Сукины дѣти! Подлецы! Оставили!.. Девятнадцать часовъ безъ воды... Можетъ быть, пришли воровать?! На, возьми здѣсь... часы... Сукинъ...

Онъ протянулъ руку съ окровавленными часами...

— Ищи тамъ, въ карманѣ, денегъ... Возьми... Обожрись... Сукинъ...

Впалъ въ обморокъ.

При свѣтѣ факеловъ Гвоздикъ видѣлъ людей въ ужасныхъ положеніяхъ, ужасныя лица... Видѣлъ оскаленные зубы, полуоткрытые глаза, торчащія изъ кустовъ затвердѣвшія руки и ноги, тѣла, лежащія на животѣ или грудью вверхъ, искривленные, изломанные, ужасно закрученные. Ужасную картину представляли и тѣ, которые умерли въ мученіяхъ. Они лежали, протянувъ руки кверху, съ открытыми отъ стона губами или такъ какъ ихъ, извивающихся отъ мукъ, поймала смерть, лицомъ къ землѣ, нѣкоторые грызя землю, со ртомъ полнымъ песку, нѣкоторые прислонившись къ ней какъ раздавленные лягушки. Нѣкоторые умирали отъ жажды, лежали вытянутые, съ листьями безплодныхъ деревьевъ въ зубахъ.

Страшенъ былъ трупъ капитана: плечами кверху безъ головы и рукъ, словно какая-то страшная рыба съ отрѣзанной головой.

Раненыхъ переносили. Гвоздикъ, Крупинскій и Василій Ивановичъ несли сержанта съ разбитымъ колѣномъ.

Когда они были уже на полдорогѣ, Гвоздикъ сказалъ:

— Несите вдвоемъ, вы, господинъ Крупинскій, очень сильны.

- Я былъ въ «Соколѣ» въ Черневицахъ.
- Я сейчасъ приду.
- Куда идешь, портняга краковскій?
- Сейчасъ, вернусь только на гору. Сейчасъ прійду.
- А что же тамъ, братецъ?
- Ничего, ничего.

Гвоздикъ оставилъ ношу, и началъ взбираться въ гору. Онъ шелъ туда, откуда прицѣливался въ ротмистра, гдѣ лежалъ трупъ поручика Петровича. Онъ нашелъ его. Поручикъ лежалъ обернувшись лицомъ въ сторону враговъ, опершись руками на кустъ, прямой и спокойный, словно спалъ. На лицѣ какъ бы задумчивость и слѣда не было видно боли, страха; черты лица вытянулись и застыли, словно убитый онъ слушалъ въ минуту смерти далекую, мелодичную музыку. Гвоздикъ сталъ на колѣни, снялъ съ мундира свой крестъ, дотронулся имъ до пробитаго пулей лба поручика и надѣлъ его съ лѣвой стороны на грудь поручика. Волненіе спирало ему грудь.

Онъ посмотрѣлъ вокругъ. Тамъ, внизу, все поле, поскольку его можно было охватить взглядомъ, было засѣяно трупами, и здѣсь, на горѣ, все трупы, трупы, трупы..

Гвоздикомъ овладѣлъ страхъ. Какъ изъ гроба на него повѣяло кладбищенскимъ холодомъ. Все вокругъ въ темнотѣ было устлано кровью, человѣческими внутренностями, разорванными животами, раздробленными, потрескавшимися, продырявленными частями тѣла. Ужасъ, отвращеніе!..

Онъ посмотрѣлъ въ сторону поручика Петровича. Тотъ тихо, спокойно и неподвижно лежалъ.

Завтра начнетъ гнить подъ этимъ крестомъ за храбрость.

Гвоздикъ вздрогнулъ и началъ сходить внизъ. Онъ находилъ товарищей.

Сержанта снесли внизъ. Всѣ собрались вмѣстѣ.

— Семьдесятъ два человѣка пало, капитанъ и поручикъ, — сказалъ кто-то.

— Христось, Іоаннъ Креститель и семьдесятъ два апостола, — засмѣялся Василій Ивановичъ.

Когда раненыхъ унесли въ полевой лазаретъ, Гвоздикъ, вернувшись на мѣсто, утомленный, легъ на землю.

Герой... Братство... Борьба—битва... Онъ герой... Скжетускій, Поднипента, Володыевскій, Кмициць...

Чарнецкій, Костюшко, Пулавскій, Понятовскій...

Висневецкій—Полянъ...

Сражается онъ, Гвоздикъ, все дальше... На сѣверъ...

Двигается вонъ, вонъ, вонъ туда...

Польская швинія!.. Куда лѣзешь?..

Разбудиль его звукъ трубъ.

Тревога!

Онъ вскочиль.

Полковникъ сидѣлъ на конѣ; рядомъ съ нимъ бригадный генераль. Команда.

Двинулись.

Куда? Почему? Зачѣмъ?

Извѣстно было только одно, что куда-то шли, что могли встрѣтить смерть.

— Чортъ возьми! Куда насъ гонять?—заворчалъ Крупинскій.

— Богъ знаетъ! Можетъ быть, на завтракъ?—шейнулъ Куракинъ, стоящій рядомъ въ строю.

Почва подъ ногами становилась мягкой, болотистой.

— Идемъ на утокъ!—сказалъ какой-то хорвать.

Шли. Сапоги вязли, они погружались въ грязь по щиколотку. Стали попадаться кусты куколя и тростника. Гвоздикъ посмотрѣлъ вверхъ; подъ небомъ колыхались три цапли.

Моросиль дождь.

Снизу вода, сверху вода!..

— Стой!

Остановились.

Было уже свѣтло: день былъ пасмурный, шелъ мелкій дождь.

Капитанъ подошелъ къ мѣсту, гдѣ стоялъ Гвоздикъ, посмотрѣлъ на него и спросиль:

— Ты, братецъ, куда дѣвалъ крестъ, что получилъ вчера?

Гвоздикъ испугался, хотѣлъ что-то сказать, но языкъ запутался во рту.

— Видно, потерялъ, какъ ходилъ искать раненыхъ?

— Такъ точно, господинъ капитанъ! Я потерялъ.

— Жалко,—сказалъ капитанъ и пошелъ дальше.

Десять часовъ, одиннадцать, двѣнадцать,—считали на часахъ тѣ, у кого они были; стояли въ грязи голодные, въ постоянномъ ожиданіи.

— Что это такое?! Зачѣмъ мы здѣсь, чортъ возьми!—ворчалъ Крупинскій.

Вдругъ гдѣ-то издали послышался ружейный залпъ.

— Вотъ зачѣмъ! За этимъ, братецъ!—отвѣтилъ Василій Ивановичъ.

• Это наши... Съ фронта...

Залпъ за залпомъ гремѣлъ. Изъ травы ничего не было видно.

Вдругъ капралъ хорватъ, который ходилъ за ранеными, схватился за грудь около горла, кровь брызнула у него изо рта и онъ... безъ стона упалъ прямо въ тину.

— Вотъ зачѣмъ мы...—но Василій Ивановичъ не окончилъ, потому что пуля сорвала ему съ головы шапку.

— Ей-Богу, парикмахеръ!

Бенцъ, бенцъ!.. Время-отъ-времени въ тростникъ и траву падалъ со стономъ солдатъ.

Кто стрѣляетъ? Откуда?

Команда. Приказано упасть въ грязь. Два часа лежали подъ огнемъ.

— Господинъ капитанъ, люди не выдержатъ дольше огня и воды,—сказалъ капитану молодой подпоручикъ.

— Что же подѣлаешь?.. Должны..

И дѣйствительно, люди не могли уже выдержать. Не столько пуль, сколько воды. Начали двигаться.

• Вдругъ вблизи раздался чей-то голосъ.

— Лежать! Кто встанетъ, пуля въ лобъ!

— Подполковникъ!—шепнулъ капитанъ подпоручику.

— Подождемъ, когда передовые погибнутъ или отступятъ.

— Кто еще пошелъ кромѣ нашей бригады?

— Кажется, второй полкъ болгарскихъ стрѣльцовъ. Эти пули, что падаютъ здѣсь, это—случайныя. Насъ никто не видитъ.

— Но погибнуть случайно и отъ нихъ можно,—довольно громко замѣтилъ Крупинскій.

— Что?!—обернулось красное отъ злости лицо капитана..— Кто разговариваетъ?!

— Я,—отвѣтилъ немного спустя дерзко Крупинскій, поднимая немного голову.

— Молчать, а то пуля въ лобъ.

Крупинскій хотѣлъ что-то сказать, но Куракинъ толкнулъ его локтемъ въ винтовку.

Невидимый солдатамъ непріятель стрѣлялъ все чаще и чаще. Вдругъ изъ грязи всталъ какой-то огромный солдатъ и съ крикомъ: «Не хочу дольше лежать!» побѣжалъ впередъ. Онъ скакалъ черезъ солдатъ и внезапно съ хрипомъ упалъ. Какой-то унтеръ-офицеръ ткнулъ его снизу штыкомъ въ животъ.

Солдатъ хрипомъ наполнилъ воздухъ и не переставалъ хрипѣть. Кровь застыла въ Гвоздзикѣ. Солдаты грозно всполошились.

Солдатъ хрипѣлъ, какъ звѣрь.

Капитанъ кивнулъ головой и закричалъ.

— Добей!

Унтеръ-офицеръ приставилъ къ виску раненаго дуло и выпалилъ.

Солдатъ замолкъ.

Гвоздзику казалось, что этотъ день никогда не окончится. Никогда ничего подобнаго не слышалъ и не воображалъ.

Переходъ по болотамъ Скжетускаго подъ Збаражемъ казался ему теперь игрушкой, потому что Скжетускій двигался, никто въ него не стрѣлялъ и не зналъ, зачѣмъ онъ вышелъ и куда идетъ. Притомъ онъ самъ былъ себѣ господиномъ. Здѣсь былъ голодъ, холодъ, сырость, дождь, стрѣляющій непріятель, котораго не видно, желѣзная даже въ сравненіи со смертью дисциплина.

Въ Гвоздзикѣ зарождался бунтъ. Тутъ даже раненые зависѣли отъ команды. Только смерть освобождала отъ приказаній.

Отъ голода, холода и невыносимаго положенія въ Гвоздзикѣ зарождался протестъ. Онъ готовъ былъ бросить винтовку и началъ размышлять, зачѣмъ онъ сюда пришелъ. Зачѣмъ бросилъ Краковъ и мастерскую портного Шаленка? Зачѣмъ добровольно пошелъ искать войны и всѣхъ ея ужасовъ? Зачѣмъ онъ сюда влѣзъ?! На кой чортъ? Зачѣмъ? Для чего?

Правильно говорили товарищи-соціалисты, утверждавшіе, что войны и войскъ не должно быть и кричавшіе въ краковскомъ ма-нежѣ: «Долой!» каждый разъ, когда говорили о воинской повинности и подати на содержаніе войска.

Вавель, Сигизмундъ, Рынокъ Краковскій, башня ратуши, камень Костюшки на рынкѣ,—чортъ бы побралъ все это! Гвоздзикъ началъ впадать въ забытѣе отъ безсилія и утомленія.

Въ тросникѣ показались болгарскіе стрѣльцы. Они обратились въ бѣгство.

Съ винтовками въ рукахъ, расчищая тросникъ, многіе съ руками на затылкѣ, какъ бы защищая голову отъ преслѣдующихъ ихъ пуль, гурьбой бѣжали на лежащій въ грязи батальонъ.

— Убѣгайте! Убѣгайте!—кричали они.

Изъ тросника съ саблей въ рукахъ вышелъ сбоку полковникъ.

— По нимъ! Пли!—крикнулъ онъ пѣхотѣ, которая, переполошившись, начала подниматься изъ болота.

Полковникъ указалъ на стрѣльцовъ.

Но пѣхота не стрѣляла. Ею овладѣлъ страхъ. Толпа болгарскихъ стрѣльцовъ наткнулась на нихъ, смѣшалась съ ними крича: «Спасайся! Убѣгай!»

Пѣхота начала вмѣстѣ со стрѣльцами убѣгать. Многіе со страха побросали винтовки. Убѣгали, какъ серны. Вдругъ начали тонуть. Болотное озеро становилось глубокимъ.

— Господи, Иисусе! Тамъ врагъ, тутъ вода!—воскликали въ отчаяніи солдаты. Но слышны уже были стоны тонущихъ.

Въ ужасѣ Гвоздзикъ убѣгалъ. Онъ чувствовалъ невыразимый, непонятный, безумный, доводящій до бѣшенства страхъ. Да еще преслѣдующая его оружейная пуля ударила въ прикладъ винтовки и разбила его на куски. Страхъ въ немъ больше еще уси-

лился, когда онъ увидѣлъ, что онъ беззащитенъ. Но, не бросая винтовки со штыкомъ, онъ расчищалъ ею тросникъ. Наконецъ-то онъ увидѣлъ землю. Слава Богу!

Потомъ Гвоздикъ вмѣстѣ съ другими началъ убѣгать въ горы, гдѣ неизвѣстно почему всѣ остановились.

Ужасный гулъ пушекъ и ружей доносился съ поля сраженія. Полководцы старались ободрить и воодушевить солдатъ. Гвоздикъ видѣлъ подобно вихрю несущуюся конную артиллерію. Казалось, пушки и лошади не дотрагивались до земли. Сорокъ пушекъ, каждая запряженная шестеркой лошадей, пролетѣли передъ его глазами. Бѣшенымъ галопомъ артиллеристы вѣхали на гору, повернули пушки, отпрягли лошадей; раздался громъ сорока пушекъ, отъ котораго затряслась земля.

Но скоро гранаты, шрапнели, картечь засыпали славянскую артиллерію. Гвоздикъ видѣлъ, какъ у одной пушки колеса разлетѣлись по воздуху. Артиллеристы начали падать. Лошади, съ которыхъ слѣзли офицеры, унтеръ-офицеры и капралы, вырывались изъ рукъ держащихъ ихъ подъ-узды солдатъ; поодоль стоящія лошади тоже бѣсились. Вдругъ съ ними побѣжали къ пушкамъ. Какая страшная картина! Непріятельскіе снаряды какъ дождь падали на артиллерію. Лошади становились на дыбы, раненые падали, пронзительно ржали, ревѣли.

Съ горы внизъ неслась вскачь пушка; въ парѣ при дышлѣ по землѣ тащилась лошадь съ распоротымъ животомъ. Артиллерія не удержалась на позиціи и пяти минутъ,—обратилась въ бѣгство.

— Что же это такое?! Боже! Пораженіе?!—крикнулъ стоящій около Гвоздика полковникъ.

Но Гвоздику не разрѣшили долго смотрѣть на это зрѣлище. Испуганныхъ болгарскихъ стрѣльцовъ и пѣхоту превратили въ тирольеровъ. Гвоздикъ съ разбитой, негодной винтовкой опять попалъ на боевую линію, на кукурузныя поля. Опять въ нихъ начали стрѣлять и опять они погибали, не видя въ кустарникахъ скрывшагося непріятели, въ котораго имъ велѣно было стрѣлять. Въ отчаяніи Гвоздикъ думалъ о томъ, чтобы

около него палъ какой-нибудь солдатъ, тогда онъ возьметъ его винтовку. Онъ лежалъ на землѣ. Все человѣческое въ немъ замерло, имъ овладѣлъ страхъ; онъ былъ похожъ на брошеннаго въ жертву собакамъ кота въ мѣшкѣ.

Пальба изъ кустарниковъ утихала; повидимому, въ теченіе какихъ-нибудь десяти минутъ они побѣдили невидимаго врага, но лава пушекъ залила ихъ. Не выдержали.

— Не терять бодрости! Не терять присутствія духа!—кричалъ какой-то генераль, котораго Гвоздикъ не зналъ. Но по голосу его было видно что, если онъ самъ не потерялъ еще присутствія духа, то уже теряетъ.

Они сошли съ поля назадъ, и Гвоздикъ узналъ, что они попали въ большую волну отступающаго войска.

Потомъ ихъ отодвинули въ сторону, по направленію къ озеру, какъ въ окопы, за волчьи ямы и проволочныя загражденія. Тамъ имъ позволено было ѣсть.

— Хорошій день!—сказалъ Крупинскій.—Деремся почти съ ночи до ночи и врага не видѣли.

— Да, да... Не столько деремся, сколько насъ бьютъ...

— Вождь виноватъ, команда. Зачѣмъ, на примѣръ, насъ въ это болото загнали? Лежали мы, чортъ возми, какъ лягушки восемь часовъ! Меня уже лихорадка трясетъ...

— Господинъ Крупинскій, не ворчите много, на васъ и такъ капитанъ обратилъ уже вниманіе,—отозвался сержантъ.

— А мнѣ что, не неволя служить, я волонтеръ,—дерзко отвѣтилъ Крупинскій.

— Волонтеръ, не волонтеръ, а коль пришли сюда, такъ вы такой же солдатъ, какъ и всѣ другіе. Васъ никто сюда не приглашалъ.

— Фи,—продѣдилъ обиженный Крупинскій.—Тогда скажите, господинъ сержантъ вы все-таки знаете, зачѣмъ мы въ болотѣ лежали?

— Былъ приказъ.

— Ну, и резонъ!

Гвоздикъ начиналъ чувствовать утомленіе. Онъ ѣлъ какъ

и всѣ другіе. Но утомленіе такъ овладѣло имъ, что все ему было безразлично. Онъ начиналъ думать: «Будь что будетъ... все равно... только бы лечь спать...»

Нѣмцы ли, не нѣмцы... только бы отдохнуть...

Сидя на землѣ и держа въ рукахъ новую винтовку, которую ему далъ капралъ послѣ какого-то умершаго раненаго, Гвоздикъ боролся со сномъ... Голова опускалась ему на грудь...

Въ толпу солдатъ влетѣлъ на конѣ какой-то офицеръ штаба и крикнулъ.

— Солдаты! Помните! Въ вашихъ рукахъ судьба нѣсколькихъ сотъ милліоновъ человѣкъ и нѣсколькихъ сотъ лѣтъ! Отъ васъ зависитъ жизнь или смерть всѣславянства. Если васъ побѣдятъ, погибнетъ славянство!..

— Командуйте нами лучше,—громко сказалъ Крупинскій.

Офицеръ повернулъ лошадь и выѣхалъ изъ окопа.

— Его Полянь прислалъ,—сказалъ Крупинскій,—главнокомандующій.

Со страха. Гвоздику вспомнился Заглоба: «Погибну я и мои блохи...»

Вдругъ команда... Смирно... Солдатъ двинули на валъ.

Сейчасъ же началась атака непріятельской пѣхоты на окопы.

Гвоздикъ на животъ лежалъ на валу и, не прицѣливаясь, стрѣлялъ въ ихъ лагерь.

Штурмъ отбить.

Около Гвоздика падали раненые и убитые. Онъ, сражаясь два дня, находясь столько разъ подъ огнемъ, былъ здоровъ и невредимъ. Вѣра и увѣренность овладѣли его душой.

— Дали мы имъ перца, но еще вернутся,—говорилъ Крупинскій.

— Пускай! Чортъ возьми! Не боюсь,—отвѣтилъ Гвоздикъ, гордясь передъ «паномъ», шляхтичемъ, потомкомъ солдата...

Разъ, другой, третій, все ожесточеннѣе, все смѣлѣе, все многочисленнѣе двигались нападающіе.

— Хорошо, что хоть дождь не льетъ,—ворчалъ между второй и третьей атакой Крупинскій.

— Чортъ возьми! Легко сказать! Я землемѣръ по профессіи, а не дѣлаю промаха, — началъ опять Крупинскій, когда снова на окопы посыпался градъ пуль.

Не боимся! Стрѣляйте, сукины дѣти!

— Скотина! Сволочь! Вотъ дураки!—ворчалъ Куракинъ.

Но пуля опять свистнула около его уха, онъ придегъ лѣвой щекой къ землѣ и началъ ругаться площадными словами.

Гвоздикъ, Гвоздикъ,—говорила совѣсть Гвоздика.—Мечиславъ Гвоздикъ, знаешь ли ты, что ты сражаешься за великое дѣло? За святое дѣло! За самое дорогое, самое святое дѣло въ мірѣ! За свободу сражаешься, Гвоздикъ, за свободу!

Тамъ, тамъ, тамъ... припомни себѣ, помни, видѣлъ, знаешь! Гвоздикъ, портняга! Сражайся какъ левъ! Не уступай ни шагу! А то останется тебѣ только веревка, чтобы повѣситься!

И ты... и всѣ!

Это—«великое дѣло!»

Гвоздикъ, Гвоздикъ! Портняга! Знаешь ли ты, что твоя винтовка святая, что дуло у ней святое, каждая пуля святая, каждая смерть, каждая рана, которую ты нанесешь,—словно гимнъ свободы! Развѣ ты этого не знаешь?!

Штурмъ прервалъ мысли Гвоздика. Дождь пуль заливалъ лагерь, онѣ ревѣли, свистѣли, звучали въ воздухѣ около ушей. Гвоздикъ съ вала видѣлъ, какъ проходили все новые и новые вражскіе полки. Въ нихъ стрѣляли изъ пушекъ, но подъ защитой они пушекъ двигались впередъ. Гвоздикъ видѣлъ, какъ бомбы и гранаты разбивали нѣмецкія полчища. Но они шли, шли, шли...

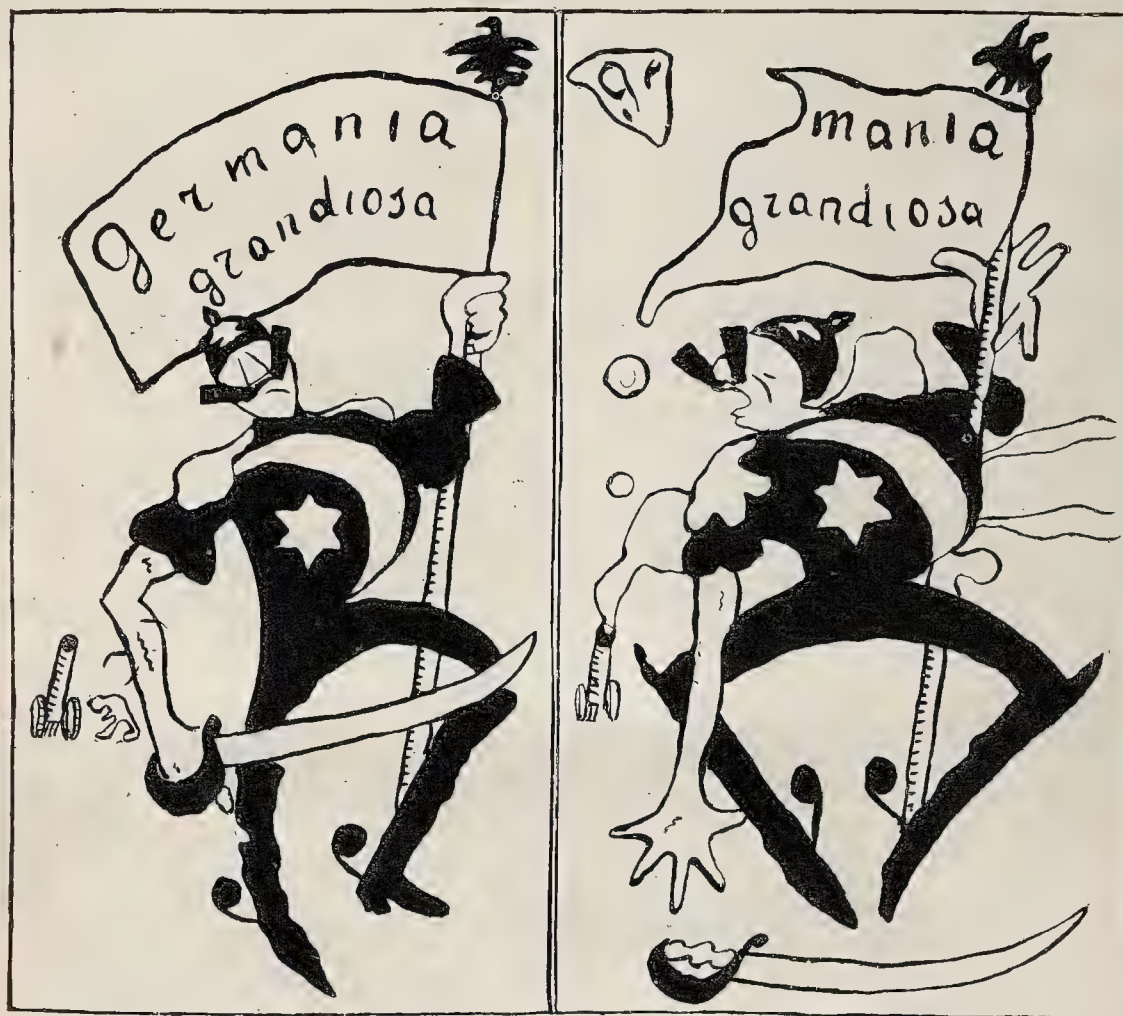
Что-то хищное было въ этихъ войскахъ. Шли, шли, шли, и не уменьшалось ихъ количество.

— Drang nach Osten,—говорилъ Крупинскій.

А нѣмцы шли.

Гвоздику казалось, что идутъ всѣ нѣмцы, сколько ихъ есть, что за этими отрядами пойдутъ жены, дѣти, дома, стада...

— Да сколько же ихъ тамъ?! кричалъ Василій Ивановичъ.— До Сибири запрудятъ...

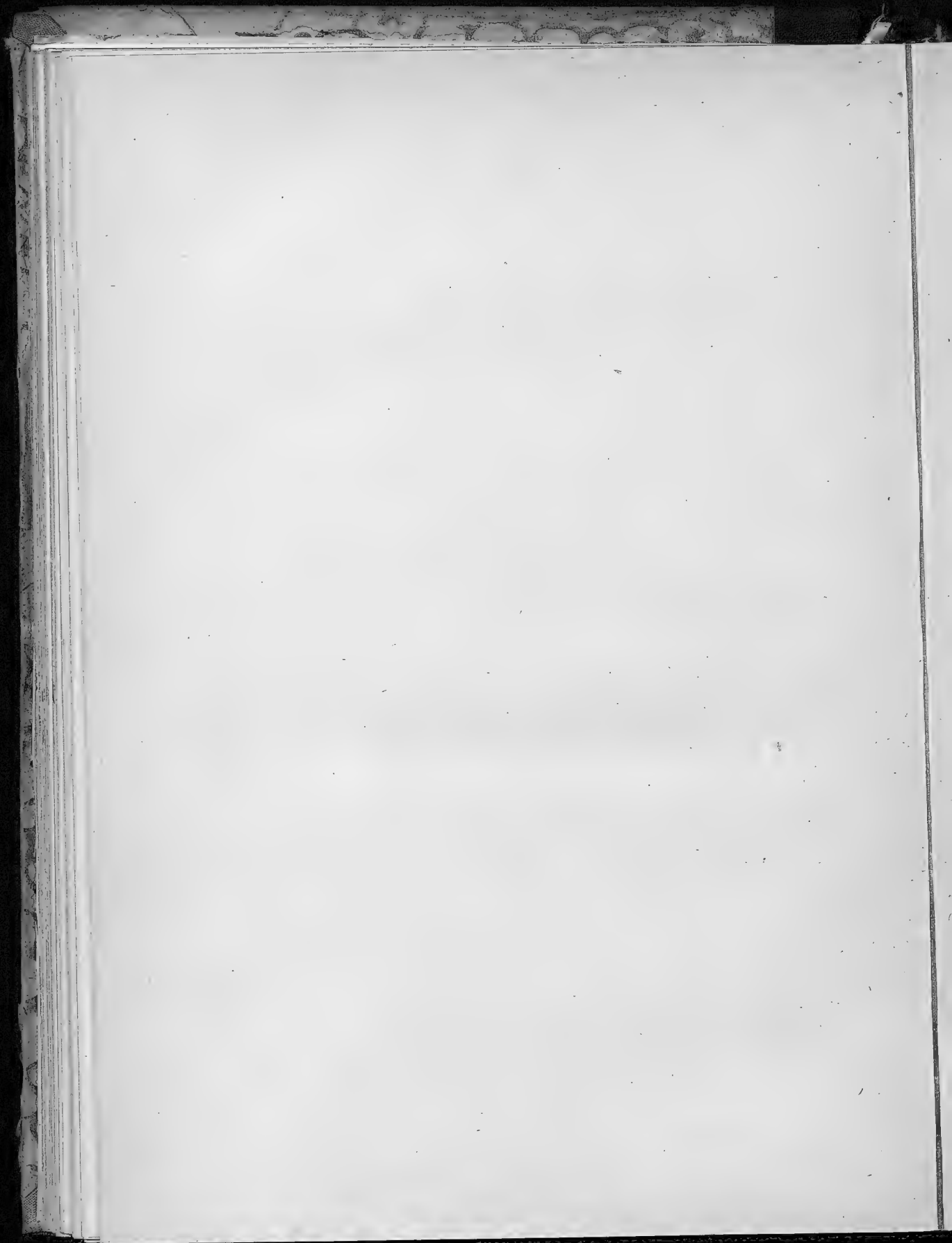


Вл. МАЯКОВСКИЙ.

Начало...

ШАРЖЪ

Возможный конецъ...



Они шли и попали въ адъ осады.

Спускалась тьма.

Въ Гвоздикѣ опять проснулась душа. Онъ летѣлъ на Дрину инстинктивно, влекомый невѣдомой силой, и только здѣсь, во второй день сраженія, къ вечеру, въ наступающей тьмѣ ясно увидѣлъ, зачѣмъ онъ пришелъ. Ему казалось, что на плечахъ у него растутъ крылья... Онъ увидѣлъ, Лонгина Подбиipientу, подъ ногами котораго «лежала куча вздрагивающихъ тѣлъ...» Онъ слышалъ ревуцій барабанъ и голосъ ксендза Каминскаго, «который бывалъ въ Хрептовѣ».

«Господинъ полковникъ Володыевскій».

Въ увлеченіи, внѣ себя, онъ заряжалъ винтовку, прижимая ее къ лицу, натягивая курокъ.

«Кто же онъ? Кто?!»—гудѣло у него въ ушахъ.

Ему казалось, что нѣчто гигантское лѣзетъ ему въ голову, освѣщаетъ все въ ней горить. Чудилось словно какая-то мудрость входитъ въ него, мудрость братскихъ ста миллионовъ человѣкъ,—мудрость, которая сто тысячъ лѣтъ лежитъ на необозримомъ пространствѣ земли, разостланная на ней какъ земная сырость...

— Портняга, что это у тебя какая физіономія, когда ты стрѣляешь, словно ты учишь таблицу умноженія?—спросилъ у него во время короткаго перерыва атаки Крупинскій.

Сраженіе продолжалось. Осажденныхъ становилось все меньше, осаждающихъ же—все больше. Враги приближались другъ къ другу. Цѣлые отряды появлялись изъ зарослей и шли къ проволочнымъ загражденіямъ,—ихъ встрѣчали залпама, обращали въ бѣгство, заставляли отступать.

Вдругъ пушки, направленные въ окопы, начали разбивать линію осажденныхъ. Солдатами овладѣлъ паническій страхъ. Они хотѣли слѣзть съ валовъ, скрыться, но офицеры съ револьверами въ рукахъ удерживали ихъ.

Гвоздику казалось, что онъ попалъ въ адъ. Вдругъ онъ увидѣлъ, что Крупинскій выстрѣлилъ не въ врага, а въ голову стоящаго задомъ къ нему съ револьверомъ въ рукахъ своего же дико улыбающагося капитана.

— Крупинскій, бойтесь Бога! Что вы сдѣлали?!

А Крупинскій крикнулъ: «На тебѣ, чортъ тебя возьми, револьверъ!» и, бросивъ винтовку, началъ спускаться съ вала внизъ. Капитанъ упалъ лицомъ къ землѣ.

На помощь осажденнымъ пришли новые батальоны. Сопротивленіе удвоилось, но не надолго. На осаждающія войска напало озвѣреніе. Кажется, они безъ команды выскочили впередъ. Они лѣзли прямо подъ пули, на проволочныя загражденія, на волчьи ямы. Гвоздзикъ видѣлъ запутывающіяся въ проволокахъ и извивающіяся въ судорогахъ какъ противные черви тѣла, падающія на поставленные въ ямахъ острые колья, на которые натыкались убитые или отъ толчка товарищей случайно попавшіе туда осаждающіе. Это были какіе-то безчеловѣчно сражающіеся солдаты въ пикельгаубахъ. Они проложили себѣ уже путь, прокладывая его своими трупами. Батальоны ринулись за ними впередъ, въ атаку валовъ. Одни стрѣляли вверхъ, въ валы, чтобы ослабить огонь, направленный на осаждающихъ, другіе шли со штыками на дулахъ.

Со страха сердце Гвоздзика сжалось.

Невольно онъ посмотрѣлъ на ближайшихъ своихъ товарищей. Крупинскаго не было, Василій Ивановичъ Куракинъ лежалъ мертвый, съ раскаряченными ногами. «Парикмахеръ» обрилъ ему жизнь.

Со смертельнымъ отчаяніемъ Гвоздзикъ приставилъ винтовку къ щекѣ и выпалилъ въ бѣгущихъ со штыками штурмовать. Ему казалось, что какой-то пикельгаубъ зашатался и упалъ, что онъ видѣлъ распластанныя руки. Но въ эту минуту Гвоздзикъ поднялъ голову и раскрылъ ротъ; винтовка казалось, окаменѣла въ его рукахъ. Тамъ, внизу, среди гула пушекъ и грома винтовокъ идущимъ штурмовать играли «Еще Польша не погибла»... Гвоздзикъ онѣмѣлъ отъ удивленія, а въ раскрытыя уста влетѣла, сокрушая зубы, пуля изъ маузера.

АЛЕКСАНДРЪ ЖУРИНЪ.

МОРСКАЯ БИТВА.

Желѣзные левиаѳаны,
Переплывая океаны,
Враждуя грозно, межъ собой
Вступили въ смертоносный бой.

Они, замѣтивъ издалека
Надъ влагой огненное око,
Ужъ извергають громъ и паръ,
Другъ другу нанося ударъ.

Вотъ надъ волнами въ клубахъ дыма
Летить, какъ вихрь, неудержимо
Чудовища стальной плевокъ
И яростно вонзился въ бокъ.

Въ стальной бронѣ левиаѳана
Дымить разорванная рана.
Четырехтрубный гребень сбить.
Звѣрь тучей пепельной повить.

Гремящій трескъ и грозный грохотъ—
Не океана-ль злобный хохотъ?
И влага, воспринявъ огонь,
Какъ обожженный скачетъ конь...

Левиаѳаны погибають
И въ безднахъ моря погребаютъ
Тѣхъ, кто, какъ Богъ, ихъ создавалъ
И кто, какъ Дьяволъ, враждовалъ.

Н. АБРАМОВИЧЪ

БРОНИРОВАННЫЙ ШВАБЪ И КУЛЬТУРА.

Мечта мірового могущества Германіи уже два года назадъ служила предметомъ обсужденія въ журнальной литературѣ Англіи и Франціи. Характернымъ въ данномъ случаѣ фактомъ явился романъ-утопія нѣмецкаго производства, въ которомъ развивалась фабула, въ достаточной степени фантастическая, на тему о міровой борьбѣ Германіи со всей Европой. Конечно, въ романѣ бронированный нѣмецкій солдатъ являлся завоевателемъ и побѣдоносно шелъ на Парижъ, Петербургъ и проч.

Печать указывала на то, что для появленія такого дѣтища бульварнаго романа необходима была соотвѣтствующая атмосфера, что, очевидно, дыма безъ огня не бываетъ, и моментъ борьбы давно уже носится предъ глазами опьяненнаго шовинистическими мечтами нѣмецкаго юнкера и бюргера.

Въ структурѣ духа германца странно сочетаются—солдатъ и мыслитель; и періодами то одинъ, то другой берутъ верхъ. Такіе яростные взрывы «зоологическаго патріотизма», жестокаго и тупого шовинизма, врядъ ли были въ другой странѣ. Заносчивый и тупой юнкеръ и носитель подлинной культуры неприми-

римо сталкиваются въ Германіи, чему очевиднымъ примѣромъ служить въ настоящемъ моментѣ борьба Вильгельма II съ социалистами, расправа съ ихъ вождями и столкновение съ общественнымъ мнѣніемъ лучшихъ людей страны.

На тронѣ Германіи возсѣдаетъ идеальнѣйшее воплощеніе бронированнаго кулака. И какъ характерно стремленіе Вильгельма въ область искусствъ, въ литературу и живопись, въ которыхъ онъ тоже являлся типичнѣйшимъ солдатомъ. Вильгельмъ отвѣчаетъ одной половиной нѣмецкаго духа, онъ родствененъ своему народу, поскольку идеалы бронированнаго кулака и грубаго угнетателя будятъ въ немъ сочувственный откликъ и даже своеобразный восторгъ.

Вспомнимъ, что въ эпоху, когда желѣзный канцлеръ и Мольтке разбивали Макъ-Магона, взрывъ необузданнаго шовинизма въ Германіи захватилъ даже людей литературы и искусства. Противостать этому грубому анти-культурному теченію не могли даже многіе представители культуры. Поистинѣ это было время расцвѣта въ Германіи великаго хамства. Какъ будто на смарку пошли столѣтія завоеваній подлинной культуры духа. Германецъ захлебывался отъ упоенія своимъ кулакомъ, возвращался къ временамъ кулачнаго права, попиралъ ногами завоеванія своего же германскаго духа, ибо превыше всего поставилъ идеалъ нѣмецкаго солдата.

Ницше, участвовавшій въ франко-прусской войнѣ въ качествѣ санитаря, вынесшій трудности этого похода, со всей яростью свободного мыслителя обрушился на этотъ животный патріотизмъ, во имя котораго попираемы были высшіе всечеловѣческіе идеалы. Извѣстны страницы его знаменитыхъ «Несвоевременныхъ размышлений», въ которыхъ представитель торжествующаго филистерства Штраусъ подвергнуть такому злему и бичующему нападенію.

Въ наши дни, въ эпоху, когда только началась эта великая европейская война, такъ неблагопріятно сложившаяся въ первые же моменты для германца, мы снова чувствуемъ идущій съ береговъ Шпрее густой и удушливый запахъ безсмысленнаго шови-

низма нѣмцевъ. Бѣшеный ростъ милитаризма, воскуреніе этому богу въ Германіи—естественно привели къ совершающимся событіямъ.

Страна идеалистической философіи, родина Гете и Шопенгауера, теперь живетъ подъ знакомъ бронированнаго кулака; солдатъ взялъ перевѣсъ надъ свободнымъ мыслителемъ. Вся эпоха послѣднихъ десятилѣтій прошла въ исповѣданіи кулака и солдата. Императоръ-солдатъ навязывалъ свои зоологическіе идеалы странѣ; теперь она пожнетъ то, что посѣяла. Борьба съ тевтонами совершается во имя культуры и мира. Драконовы зубы, которые посѣяла Германія, должны обратиться противъ нея. Низложеніе ея могущества, низложеніе этихъ канибальскихъ мечтаній будетъ явнымъ торжествомъ культуры истинной.

2.

Желѣзный путь внѣшней культуры и соотвѣтствующій перестрой психологіи человѣка уже настолько измѣнили самый характеръ и духъ войны, что въ лѣтописяхъ прошлаго нельзя искать какихъ-либо аналогій въ области ощущеній и переживаній. Кошмаръ войны благодаря той же внѣшней культурѣ, техническимъ изобрѣтеніямъ, средствамъ грандіознаго истребленія—усилился безмѣрно. Въ то же время наивный духъ прошлаго военнаго героизма замѣнился героизмомъ иного рода, точно также, какъ способы веденія войны, тактика и стратегія ея—кореннымъ образомъ измѣнились.

Культура исключаетъ войну, приводя ее къ фантастическимъ грандіознымъ размѣрамъ, снабжая ее орудіями и средствами такой кошмарной силы, при которыхъ налицо только фактъ всечеловѣческаго несчастія, бойни милліоновъ. Тѣмъ болѣе отвѣтственъ тотъ, который делѣялъ мечту такой всеевропейской бойни и заварилъ такую кровавую жертву.

Гекатомба изъ горъ человѣческихъ труповъ во имя честолюбія и завоевательной маніи германскаго коронованнаго солдата—преступленіе неслыханное. Подумать только, что волей воин-

ствующаго маньяка, презирающаго культуру и культурное движеніе міра, приостановлена жизнь духа во всей Европѣ. Въ текущій моментъ вся она превращена въ сплошной военный лагерь.

Нѣтъ мыслителей, художниковъ, людей научнаго знанія и творческой мысли, есть только солдаты, мясо для пушекъ и дальнобойныхъ ружей, мишень для орудійныхъ снарядовъ и пулеметовъ. Нѣтъ никакихъ научныхъ или творческихъ интересовъ. Хватить ли пищи, есть ли подвозъ продуктовъ—вотъ вопросъ, которымъ больше приходится интересоваться, чѣмъ проблемами науки и творчества.

Осязательное давленіе нѣмецкаго солдата почувствовали всѣ мы хотя бы въ той мѣрѣ, поскольку вся наша жизнь превращена въ военный лагерь, и въ ней явственно пошли на убыль высшіе интересы. Представляется какимъ-то кошмаромъ возможность такого хотя бы временнаго одичанія духа въ зависимости отъ дикой маніи безумнаго честолюбца, которому дана власть въ ущербъ подлиннымъ и насущнымъ цѣлямъ человѣчества.

Борьба во имя культуры—вотъ подлинный лозунгъ этой войны. Надо самую Германію освободить отъ парализующаго вліянія грубой силы, надо спасти ее отъ власти бронированнаго шваба, отъ владычества солдата надъ мыслителемъ и свободнымъ творцомъ въ области духа. Гроза проносится надъ міромъ и въ ней милитаризмъ уничтожаетъ самъ себя, какъ пожираетъ самъ себя сказочный драконъ, безсильный и побѣжденный.

Грозные результаты настоящей войны должны надолго уничтожить возможность кровавыхъ кошмаровъ; гнѣздо милитаризма, какимъ является Германія въ рукахъ Вильгельма, должно быть обезврежено, чѣмъ и обеспечится надолго покой культурнаго существованія.

Человѣчество обречено на иную борьбу, болѣе отвѣтственную и могущественную, на борьбу съ природой, съ космосомъ, на утвержденіе своей силы, своего духа въ мірѣ. Преступно на этомъ великомъ пути вѣчной культуры громоздить горы труповъ и затруднять ея движеніе взрывами челоѣконенавистничества и грубой силы.

В. ГАРШИНЪ

.....
Ночью съ 14 на 15 іюня Ѳедоровъ разбудилъ меня.

— Михайлычъ, слышите?

— Что такое?

— Пальба. Дунай переходятъ.

Я началъ прислушиваться. Дуль сильный вѣтеръ, гнавшій низкія черныя тучи, заслонявшія мѣсяцъ; онъ налеталъ на плотно, съ шумомъ шлепалъ его, гудѣлъ въ веревкахъ и тонко высвистывалъ гдѣ-то въ ружейныхъ козлахъ. Сквозь эти звуки иногда слышались глухіе удары.

— Народу-то теперь что валится!—вздохнувъ, прошепталъ Ѳедоровъ.—Насъ поведутъ или нѣтъ? Какъ полагаете? Ухаетъ-то какъ, будто громъ!

— Можетъ-быть, и въ самомъ дѣлѣ гроза?

— Нѣтъ! Какая гроза? Очень ужъ правильно. Слышите? Одна за одной, одна за одной.

Удары дѣйствительно раздавались правильно, черезъ извѣстные промежутки времени. Я вылѣзъ изъ-подъ палатки и сталъ смотрѣть по направленію выстрѣловъ. Вспышекъ огня не было видно. Иногда напряженнымъ глазамъ мерещился свѣтъ въ той сторонѣ, откуда гремѣли пушки, но это только обманъ.

«Вотъ оно наконецъ!»—подумалось мнѣ.

И я старался представить себѣ, что дѣлается тамъ, въ темнотѣ. Мнѣ чудилась широкая черная рѣка съ обрывистыми берегами, совершенно непохожая на настоящій Дунай, какимъ я его увидѣлъ потомъ. Плывутъ сотни лодокъ; эти мѣрные частые выстрѣлы—по нимъ. Много ли уцѣлѣетъ ихъ? Холодная дрожь пробѣжала у меня по тѣлу. «Хотѣлъ бы ты быть тамъ?»—невольно спросилъ я самъ себя.

Я посмотрѣлъ на спящій лагерь; все было спокойно; между далекимъ громомъ орудій и шумомъ вѣтра слышалось мирное хрипѣе людей. И страстно захотѣлось мнѣ вдругъ, чтобы всего этого не было, чтобы походъ протянулся еще, чтобы этимъ спокойно спящимъ, а вмѣстѣ съ ними и мнѣ, не пришлось идти туда, откуда гремѣли выстрѣлы.

Иногда канонада становилась сильнѣе; иногда мнѣ смутно слышался менѣе громкій, глухой шумъ. «Это стрѣляютъ ружейными залпами»,—думалъ я, не зная, что до Дуная еще двадцать верстъ, и что болѣзненно настроенный слухъ самъ создавалъ эти глухіе звуки. Но хотя и мнимые, они все-таки заставляли воображеніе работать и рисовать страшныя картины. Чудились крики и стоны, представлялись тысячи валящихся людей, отчаянное хриплое «ура!», атака въ штыки, рѣзня. А если отобьютъ, и все это даромъ?

Темный востокъ посѣрѣлъ; вѣтеръ сталъ утихать. Тучи разошлись; умирающія звѣзды виднѣлись кое-гдѣ на поблѣднѣвшемъ, зеленоватомъ небѣ. Начало свѣтать; въ лагерь кое-кто проснулся, и услышавшіе звуки сраженія будили другихъ. Говорили мало и тихо. Неизвѣстность близко подошла къ людямъ: никто не зналъ, что будетъ завтра, и не хотѣлъ ни думать ни говорить объ этомъ завтрашнемъ днѣ.

Я заснулъ на разсвѣтѣ и проснулся довольно поздно. Пушки продолжали глухо гремѣть, и хотя никакихъ извѣстій съ Дуная не было, между нами ходили слухи, одинъ другого невѣроятнѣе. Одни говорили, что наши уже перешли и гонятъ турокъ, другіе—что переправа не удалась, что уничтожены цѣлыя полки.

— Которыхъ потопили, которыхъ перестрѣляли, — заговорилъ кто-то.

— А ты ври больше, — оборвалъ его Василій Карпычъ.

— Зачѣмъ мнѣ врать, ежели правда?

— Правда! Тебѣ кто сказалъ?

— Чего?

— Правду-то? Откедова слышалъ? Мы всѣ знаемъ: пальба идетъ, и больше ничего.

— Всѣ говорятъ. Къ генералу казакъ...

— Казакъ! Ты видѣлъ казака-то? Какой онъ изъ себя есть, казакъ-то твой?..

— Казакъ, обыкновенно... какой казакъ должнъ быть.

— То-то должнъ! Языкъ-то у тебя — бабья балаболка. Сидѣлъ бы да молчалъ. Никого не было, неоткуда и знать.

Я пошелъ къ Ивану Платонычу. Офицеры сидѣли совсѣмъ готовые, застегнутые и съ револьверами на поясѣ. Иванъ Платонычъ былъ, какъ и всегда, красенъ, пыхтѣлъ, отдувался и вытиралъ шею грязнымъ платкомъ. Стебельковъ волновался, сіялъ и для чего-то нафабрилъ свои, прежде висѣвшіе внизъ, усики, такъ что они торчали острыми кончиками.

— Вотъ прапорщикъ-то нашъ! Расфрантился передъ дѣломъ, — сказалъ Иванъ Платонычъ, подмигивая на него. — Ахъ, Стебелечекъ, Стебелечекъ! Жаль мнѣ тебя! Не будетъ у насъ въ собраніи такихъ усиковъ!ломаютъ тебя, Стебелечекъ, — говорилъ капитанъ шутливо-жалобнымъ тономъ. — Ну, что, не трусишь?

— Постараюсь не трусить, — бодрымъ голосомъ сказалъ Стебельковъ.

— Ну, а вамъ, воитель, страшно?

— Самъ не знаю, Иванъ Платонычъ... Оттуда ничего не слышно?

— Ничего. Господь знаетъ, что тамъ дѣлается. — Иванъ Платонычъ тяжело вздохнулъ. — Въ часъ выступаемъ, — добавилъ онъ, помолчавъ.

Пола палатки откинулась; адъютантъ Лукинъ просунулъ свое лицо, на этотъ разъ серьезное и блѣдное.

— Вы здѣсь, Ивановъ? Приказано привести васъ къ присягѣ... Не сейчасъ, когда будемъ выступать. Иванъ Платонычъ! Пятую пачку, патроновъ людямъ.

Онъ отказался войти посидѣть, говоря, что много дѣла, и побѣжалъ куда-то. Я тоже вышелъ.

Часамъ къ двѣнадцати поспѣлъ обѣдъ. Люди ѣли плохо. Послѣ обѣда приказали снять надульники (кожаные чехольчики) съ ружей и роздали добавочные патроны. Солдаты, готовясь къ бою, начали осматривать свои ранцы и выбрасывать все лишнее. Бросали порванные рубахи и штаны, разныя тряпки, старые сапоги, щетки, засаленныя солдатскія книжки; нѣкоторые, какъ оказалось, донесли до Дуная въ ранцахъ множество ненужныхъ вещей. Я видѣлъ на землѣ брошенный «щелкунъ», т.-е. деревянную чурку, которою въ мирное время передъ парадами и смотрами разглаживаютъ ремни амуниціи, тяжелыя каменные банки изъ подъ помады, какія-то коробочки и дощечки и даже цѣлую сапожную колодку.

Бросай болѣ, ребята! Все легче въ дѣйствіе итти. Завтра ужъ не нужно будетъ.

— Пятьсотъ верстъ тащилъ... и на что мнѣ она?—разсуждалъ солдатъ Лютиковъ, разсматривая какую-то тряпицу:—съ собою не унесешь...

Выбрасывать вещи, очищать ранецъ, въ тотъ день вошло въ моду. Когда мы сошли съ мѣста, на которомъ стояли, оно представлялось на темномъ фонѣ степи правильнымъ четырехугольникомъ, пестрымъ отъ множества тряпокъ и другихъ вещей.

Передъ походомъ, когда полкъ, уже совсѣмъ готовый, стоялъ и ждалъ команды, впереди собралось нѣсколько офицеровъ и нашъ молоденькій полковой священникъ. Изъ фронта вызвали меня и четырехъ вольноопредѣляющихся изъ другихъ батальоновъ; всѣ поступили въ полкъ на походъ. Ооставивъ ружья сосѣдямъ, мы вышли впередъ и стали около знамени; знакомые

мнѣ товарищи были взволнованы, да и у меня сердце билось сильнѣе, чѣмъ всегда.

— Возьмитесь за знамя!—сказалъ батальонный командиръ. Знаменщикъ наклонилъ знамя; его ассистенты сняли чехолъ. Старая, полинявшая зеленая шелковая ткань забила по вѣтру. Мы стали вокругъ и, держа одной рукой древко, а другую поднимая вверхъ, повторяли слова священника, который читалъ съ листа старинную петровскую военную присягу. Вспомнились мнѣ слова Василия Карпыча на первомъ переходѣ. «Гдѣ же это?»—думалъ я. И послѣ долгаго перечисленія случаевъ и мѣстъ службы Его Императорскаго Величества: походовъ, наступленій, авангардій и арріергардій, крѣпостей, карауловъ и обозовъ, я услышалъ эти слова.—«Не щадя живота»,—громко повторили всѣ пятеро въ одинъ голосъ; и, глядя на ряды сумрачныхъ, готовыхъ къ бою людей, я чувствовалъ, что это не пустые слова.

Мы вернулись въ ряды; полкъ дрогнулъ, зашевелился и, вытянувшись въ длинную колонну, форсированнымъ шагомъ пошелъ къ Дунаю. Выстрѣлы, доносившіеся оттуда, смолкли.

Какъ сквозь сонъ помню этотъ переходъ; пыль, поднимаемую обгонявшими насъ на рысяхъ казачьими полками, широкую степь, спускавшуюся къ Дунаю, другой синѣвшій берегъ котораго мы увидѣли верстъ за пятнадцать; усталость, жару, свалку и драку у встрѣтившагося намъ уже подъ Зимницею колодца; грязный маленькій городокъ, наполненный войсками, какихъ-то генераловъ, махавшихъ намъ съ балкона фуражками и кричавшихъ «ура», на что мы отвѣчали тѣмъ же.

— Перешли! Перешли!—гудѣли вокругъ голоса.

— Двѣсти убитыхъ, пятьсотъ раненыхъ!

Ужъ было темно, когда мы, сойдя съ берега, перешли притокъ Дуная по небольшому мосту и пошли по низкому песчаному острову, еще мокрому отъ только-что спавшей съ него во-

ды. Помню рѣзкій лязгъ штыковъ сталкивавшихся въ темнотѣ солдатъ, глухое дребезжаніе обгонявшей насъ артиллеріи, черную массу широкой рѣки, огоньки на другомъ берегу, куда мы должны были переправиться завтра и гдѣ, я думалъ, завтра же будетъ новый бой.

«Лучше не думать, а уснуть»,—рѣшилъ я и улегся въ пропитанный водой песокъ.

Солнце было уже высоко, когда я открылъ глаза. На песчаномъ берегу толпились войска, обозы и парки; у самой воды уже успѣли выкопать батареи и ровики для стрѣлковъ; за Дунаемъ, на крутомъ берегу, можно было разсмотрѣть сады и виноградники, въ которыхъ копошились наши войска; за ними поднимались все выше и выше возвышенности, рѣзко ограничивая горизонтъ. Вправо, версты за три отъ нихъ, бѣлѣло на холмахъ своими домами и минаретами Систово. Пароходъ, съ баркой на буксирѣ, перевозилъ батальонъ за батальономъ на ту сторону. У нашего берега шипѣлъ парами маленькій миноносный катеръ

— Съ благополучнымъ переходомъ, Владимиръ Михайлычъ!—весело поздравилъ меня Федоровъ.

— И васъ также. Да только мы-то вѣдь еще не перешли?

— А вотъ сейчасъ пароходъ придетъ, заберетъ. Мониторъ турецкій, говорятъ, недалеко; вонъ этотъ самоварчикъ на него приготовленъ. — Онъ показалъ на миноноску. — Побито народа что, Господи!—продолжалъ онъ, измѣнивъ голосъ.—Ужъ возили-возили съ той стороны..

И онъ рассказалъ мнѣ всѣмъ извѣстныя подробности систовскаго боя.

— Теперь нашъ чередъ. Перейдемъ на тотъ бокъ—турки навалятся.. Ну, все-таки вышла отсрочка: мы-то живы, а вотъ тѣ..

Онъ кивнулъ на стоявшую недалеко кучку солдатъ и офицеровъ, столпившихся вокругъ невидимаго предмета, на который всѣ они смотрѣли.

— Что это такое?

— Убитыхъ нашихъ оттуда привезли. Подите, посмотрите, Михайлычъ, страсть-то какая.

Я подошелъ къ кучкѣ. Всѣ, молча и снявъ шапки, смотрѣли на лежавшія рядомъ на песокъ тѣла. Иванъ Платонычъ, Стебельковъ и Венцель тоже были здѣсь. Иванъ Платонычъ сердито нахмурился, крихтѣлъ и отдувался; Стебельковъ съ наивнымъ ужасомъ вытягивалъ изъ-за плеча тонкую шею; Венцель стоялъ, глубоко задумавшись.

Лежавшихъ на песокъ было двое. Одинъ—рослый, красивый гвардеецъ Финляндскаго полка, изъ сборной гвардейской полуроты, той самой, которая потеряла во время атаки половину людей. Онъ былъ раненъ въ животъ и, должно-быть, долго мучился до смерти. Тонкій отпечатокъ чего-то одухотвореннаго, изящнаго и нѣжно-жалобнаго оставило страданіе на его лицѣ. Глаза были закрыты, руки сложены на груди. Самъ ли онъ передъ смертью принялъ это положеніе, или товарищи позаботились о немъ? Его видъ не возбуждалъ ужаса и отвращенія, а только безконечную жалость къ погибшей, бывшей ключемъ жизни.

Иванъ Платонычъ нагнулся къ трупу и, взявъ фуражку, лежавшую около головы, прочелъ на козырькѣ: «Иванъ Журенко, третьей роты».

— Хохоль былъ, бѣдняга!—тихо сказалъ онъ.

И представились мнѣ родина, жаркій вѣтеръ въ степи, свобода по оврагу, левады, заросшія вербами, бѣленькая мазанка съ красными ставнями... Кто ждетъ тамъ тебя?

Другой былъ армеецъ Волынскаго полка. Смерть застала его внезапно. Онъ бѣжалъ, разъяренный, въ атаку, задыхаясь отъ крика; пуля ударила его въ переносье, пронзила голову, оставивъ по себѣ черную зіяющую рану. Такъ и лежалъ онъ съ широко раскрытыми, теперь уже застывшими глазами, съ открытымъ ртомъ и съ искривленнымъ яростью, посинѣлымъ лицомъ.

— Разсчитались,—сказалъ Иванъ Платонычъ.—Въ чистую. Ничего имъ больше не нужно.

Онъ повернулся; солдаты торопливо разступились, чтобы пропустить его. Мы съ Стебельковымъ пошли за нимъ. Венцель догналъ насъ.

— Вотъ, Ивановъ,—сказалъ онъ.—Видѣли?

— Видѣлъ, Петръ Николаичъ,—отвѣчалъ я.

— Что жъ вы думали, глядя на нихъ?—сумрачно спросилъ онъ.

И во мнѣ вдругъ вспыхнула злоба противъ этого злого человѣка и желаніе сказать ему что-нибудь тяжелое.

— Много. И больше всего о томъ, что они уже не пушечное мясо. Для нихъ уже не нужно спайки и дисциплины; и никто не будетъ истязать ихъ ради этой спайки. Они не солдаты, не подчиненные!—говорилъ я дрожащимъ голосомъ.—Они—люди!

Венцель блеснулъ глазами. Звукъ вылетѣлъ изъ его горла и прервался: должно-быть, онъ хотѣлъ отвѣтить мнѣ, но сдержалъ себя и на этотъ разъ. Онъ шелъ рядомъ со мной, потупивъ голову, и черезъ нѣсколько шаговъ, не смотря на меня, сказалъ:

— Да, Ивановъ, вы правы. Они люди.. Мертвые люди.

Насъ перевезли черезъ Дунай; нѣсколько дней мы стояли около Систова, ожидая турокъ; потомъ войска потянулись въ глубь страны. Пошли и мы. Насъ долго посылали то туда, то сюда: были мы и около Тырнова и недалеко отъ Плевны; но прошло три недѣли, а намъ все еще не довелось драться. Наконецъ мы попали въ особый отрядъ, обязанность котораго была—сдерживать наступленіе большой турецкой арміи. Сорокъ тысячъ русскихъ было растянуто на семьдесятъ верстъ; около ста тысячъ турокъ стояло противъ нихъ, и только осторожныя дѣйствія нашего начальника, не рисковавшаго людьми, а довольствовавшагося отпоромъ наступающагося непріятеля, да вялость турецкаго паши позволяли намъ исполнить нашу задачу: не дать туркамъ прорваться и отрѣзать нашу главную армію отъ Дуная.

Насъ было мало, линія наша была велика; поэтому намъ рѣдко приходилось отдыхать. Мы обошли множество деревень, являясь то тамъ, то здѣсь, чтобы встрѣтить предполагаемое нападеніе; мы забирались въ такую глушь Болгаріи, что насъ не находили транспорты съ провіантомъ, и намъ приходилось голодать, растягивая двухдневную порцію сухарей на пять и болѣе

дней. Голодавшие люди молотили незрѣлую пшеницу палками на растянутыхъ палаткахъ, варили изъ нея и изъ кислыхъ лѣсныхъ яблокъ отвратительную похлебку, безъ соли (потому что и ея было взять негдѣ), и заболѣвали отъ нея. Батальоны таяли, хотя и не были въ дѣлѣ.

Въ половинѣ іюля наша бригада, съ нѣсколькими эскадронами кавалеріи и двумя батареями пушекъ, пришла въ брошенную жителями, разоренную и полувывожженную турецкую деревню. Нашъ лагерь раскинулся на выской, обрывистой горѣ: деревня была внизу, въ глубинѣ долины, по которой извивалась узенькая рѣчка. Крутыя, высокія скалы возвышались на другой сторонѣ долины. То была, какъ мы думали, турецкая сторона, однако турокъ близко не было. Мы простояли нѣсколько дней на нашей горѣ, почти безъ хлѣба съ трудомъ доставая воду, за которой нужно было спускаться далеко внизъ, къ ключу, бывшему внизу изъ скалы. Мы были совершенно отдѣлены отъ арміи и не знали, что дѣлается на бѣломъ свѣтѣ. Верстъ за пятьдесятъ впереди насъ казаки содержали разъѣзды; двѣ или три сотни ихъ были растянуты на двадцать верстъ. Турокъ не было и тамъ.

Несмотря на то, что мы не могли открыть непріятеля, нашъ маленькій отрядъ принималъ всѣ мѣры осторожности. Днемъ и ночью стояла кругомъ лагеря густая аванпостная цѣпь. По условіямъ мѣстности, ея линія была очень длинна, и каждый день нѣсколько ротъ были заняты этой бездѣльной, но очень утомительной службой. Бездѣйствіе, почти постоянный голодъ, неизвѣстность положенія дурно дѣйствовали на людей.

Околотки (полковые лазареты) были переполнены; каждый день отправляли ослабѣвшихъ и измученныхъ лихорадкою и кровавымъ поносомъ людей куда-то въ дивизіонный лазаретъ. Въ ротахъ было налицо отъ половины до двухъ третей полного состава. Всѣ были мрачны, и всѣмъ хотѣлось итти въ дѣло. Все-таки это былъ исходъ.

Наконецъ онъ наступилъ. Отъ командира казачьей сотни прискакалъ казакъ съ извѣстіемъ, что турки начали наступать, и что онъ, командиръ, долженъ былъ стянуть своихъ людей и

отступить на пять верстъ. Потомъ оказалось, что турки вернулись, не думая продолжать наступленіе, что намъ можно было спокойно оставаться на мѣстѣ, тѣмъ болѣе, что намъ никто не велѣлъ наступать. Но командовавшій тогда нами генераль, незадолго до того пріѣхавшій изъ Петербурга, чувствовалъ то же, что и всѣ люди отряда. А людямъ было невыносимо сидѣть, сложа руки, или стоять по цѣлымъ суткамъ на часахъ противъ невидимаго и, какъ всѣ были убѣждены, несуществовавшаго не-пріятеля, питаться скверною пищею и ждать своей очереди заболѣть. Всѣмъ хотѣлось итти драться. И генераль приказалъ нападеніе.

Мы оставили половину отряда въ лагерѣ. Положеніе дѣлъ было настолько малоизвѣстно, что можно было ждать атаки съ другихъ сторонъ. Четырнадцать ротъ, гусары и четыре пушки послѣ полудня двинулись въ походъ. Никогда мы не шли такъ скоро и бодро, кромѣ того дня, когда проходили передъ государемъ.

Мы шли долиною, проходя одну за другою брошенныя турецкія и болгарскія деревни. Въ узкихъ переулкахъ, обнесенныхъ высокими, выше человѣческаго роста, плетнями, не встрѣчалось ни человѣка, ни скотины, ни собаки; только куры, клохтая, разлетались отъ насъ по плетнямъ и крышамъ, да гуси съ крикомъ тяжело поднимались на воздухъ и старались улетѣть. Изъ садиковъ выглядывали вѣтви, точно облѣпленныя спѣлыми сливами всевозможныхъ сортовъ. Въ послѣдней деревнѣ, за пять верстъ отъ того мѣста, гдѣ предполагались турки, намъ дали полчаса отдыха. Въ это время полуголодные солдаты натрясли множество сливъ, наѣлись и набили ими свои сухарные мѣшки. Нѣкоторые, правда, немногіе, позаботились наловить и нарѣзать куръ и гусей, ощипали ихъ и взяли съ собой. Мнѣ вспомнилось, какъ тѣ же солдаты, передъ систовской переправой, въ ожиданіи боя, выбрасывали изъ ранцевъ всѣ свои вещи, и я сказалъ объ этомъ Житкову, который въ это время ощипывалъ огромнаго гуся.

— Что-жъ, Михайлычъ, хотя въ дѣйствиіи не были, а ждать привыкли. Все сдается, будто такъ только проходишь. Въ ничью

сыграешь. А ежели и попадешь въ дѣйствіе—запасъ ѣсть не просить. Ну, какъ не убьютъ? Закусить-то и есть чѣмъ.

— Страшно вамъ?—невольно спросилъ я его.

— Да можетъ, ничего и не будетъ,—нескоро отвѣтилъ онъ, щурясь и старательно выщипывая оставшійся бѣлый пушокъ.

— А если будетъ?

— Ежели будетъ—страшно не страшно, все одно, итти надо. Нашего брата не спросятъ. Иди себѣ съ Богомъ. Дай-ка ножа: у тебя ножъ важный.—Я далъ ему свой большой охотничій ножъ. Онъ разрубилъ гуся вдоль и половину протянулъ мнѣ.—Возьми-ка себѣ на слѣчай. А объ этомъ самомъ, страшно ли, не страшно, не думай, баринъ, лучше. Все отъ Бога. Отъ Него никуда не уйдешь.

— Ежели ужъ летитъ въ тебя пуля или тамъ граната, куда жъ уйти! — подтвѣрдилъ Ѳедоровъ, лежавшій около насъ.— Я такъ полагаю, Владиміръ Михайлычъ, что даже опасности больше есть въ бѣгствѣ. Потому — пуля по траекторіи должна летѣть этакъ вотъ (онъ показалъ пальцемъ), и самая что ни на есть жарня въ тылу образуется!

— Да, — сказалъ я: — особенно съ турками. Говорятъ, они высоко цѣляютъ.

— Ну, ученый! — сказалъ Житковъ Ѳедорову: — разговаривай больше! Тамъ тебѣ такую траекторію покажутъ! Оно конечно, — прибавилъ онъ, подумавъ: — что лучше ужъ впереди...

— Куда начальство, — сказалъ Ѳедоровъ. — А нашъ впередъ пойдетъ, не струсить.

— Пойдетъ. Нашъ не струсить. И Нѣмцевъ тоже пойдетъ.

— Дядя Житковъ, — спросилъ Ѳедоровъ: — какъ скажешь: быть ему сегодня живу, или нѣтъ?

Житковъ потупилъ глаза.

— Ты про что это говоришь?—спросилъ онъ.

— Да полно! Видѣлъ его? Такъ вотъ все въ немъ и ходитъ.

Житковъ сталъ еще угрюмѣе.

— Пустое ты болтаешь, — глухо проговорилъ онъ.

— А до Дунаю-то что говорили—сказалъ Ѳедоровъ.

— До Дунаю!.. Обозлившись, съ сердцовъ, всякое несли. Извѣстно, невтерпежъ было. Ты что думаешь, разбойники, что ли? — сказалъ Житковъ, обернувшись и смотря Ѳедорову прямо въ лицо.—Бога, что ли, въ нихъ нѣтъ? Не знаютъ, куда идутъ! Можетъ, которымъ сегодня Господу Богу отвѣтъ держать, а имъ объ такомъ дѣлѣ думать? До Дунаю! Да я до Дунаю-то и самъ разъ барину сказалъ (онъ кивнулъ на меня). Точно, что сказалъ, потому—и смотрѣть-то тошно было. Эка вспомнилъ, до Дунаю!

Онъ полѣзъ въ голенище за кисетомъ и долго еще ворчалъ, набивая трубку и закуривая ее. Потомъ, спрятавъ кисеть, усѣлся поудобнѣе, охвативъ колѣни руками, и погрузился въ какую-то тяжелую думу.

Черезъ полчаса мы вышли изъ деревни и начали подниматься изъ долины въ горы. За возвышенностью, которую намъ нужно было перейти, были турки. Мы вышли на гору; передъ нами открылось широкое, холмистое, постепенно понижавшееся пространство, покрытое то нивами пшеницы, то кукурузными полями, то огромными зарослями карагача и кизила. Въ двухъ мѣстахъ бѣлѣли минареты деревень, скрытыхъ между зелеными холмами. Мы должны были взять правую изъ нихъ. За нею, на краю горизонта, чуть виднѣлась бѣловатая полоска: то было шоссе, прежде занятое нашими казаками. Скоро все это скрылось изъ вида: мы вступили въ густую заросль, изрѣдка прерываемую небольшими полянками.

Я плохо помню начало боя. Когда мы вышли на открытое мѣсто, на вершину холма, откуда турки могли ясно видѣть, какъ наши роты, выходя изъ кустовъ, строились и расходились въ цѣпь, одиноко загремѣлъ пушечный выстрѣлъ. Это они пустили гранату. Люди дрогнули; глаза всѣхъ устремились на уже расплывавшееся, тихо скатывавшееся съ холма бѣлое облачко дыма. И въ тотъ же мигъ приближающійся звонкій, скрежещущій звукъ снаряда, летѣвшаго, какъ казалось, надъ самыми нашими головами, заставилъ всѣхъ пригнуться. Граната, перелетѣвъ че-

резъ насъ, ударила въ землю около шедшей позади роты; помню глухой ударъ ея разрыва и вслѣдъ затѣмъ — чей-то жалобный крикъ. Осколокъ оторвалъ ногу фельдфебелю. Я узналъ это послѣ; тогда я не могъ понять этого крика: ухо слышало его — только. Тогда все слилось въ томъ смутномъ и невыразимомъ словами чувствѣ, какое овладѣваетъ вступающимъ первый разъ въ огонь. Говорятъ, что нѣтъ никого, кто бы не боялся въ бою; всякій нехвастливый и прямой человѣкъ на вопросъ: страшно ли ему, отвѣтитъ: страшно. Но не было того физическаго страха, какой овладѣваетъ человѣкомъ ночью, въ глухомъ переулкѣ, при встрѣчѣ съ грабителемъ; было полное, ясное сознание неизбежности и близости смерти. И дико и странно звучать эти слова — это сознание не останавливало людей, не заставляло ихъ думать о бѣгствѣ, а вело впередъ. Не проснулись кровожадные инстинкты, не хотѣлось итти впередъ, чтобы убить кого-нибудь, но было неотвратимое побужденіе итти впередъ во что бы то ни стало и мысль о томъ, что нужно дѣлать во время боя, не выразилась бы словами: нужно убить, а скорѣе: нужно умереть.

Пока мы перѣходили черезъ поляну, турки успѣли сдѣлать нѣсколько выстрѣловъ. Насъ отдѣляла отъ нихъ только послѣдняя большая заросль, медленно поднимавшаяся къ деревнѣ. Мы вошли въ кусты. Все смолкло.

Итти было трудно; густые, часто колючіе кусты разрослись густо, и нужно было обходить ихъ или пробираться черезъ нихъ. Шедшіе впереди стрѣлки уже разсыпались цѣпью и изрѣдка перекликались между собою, чтобы не разойтись. Мы пока держались всей ротой вмѣстѣ. Глубокое молчаніе царило въ лѣсу.

И вотъ раздался первый, негромкій, похожій на ударъ топора дровосѣка, ружейный выстрѣлъ. Турки наугадъ начали пускать въ насъ пули. Онѣ свистѣли высоко въ воздухѣ разными тонами, съ шумомъ пролетали сквозь кусты, отрывая вѣтви, но не попадали въ людей. Звукъ рубки лѣса становился все чаще и наконецъ слился въ однообразную трескотню. Отдѣльных взвизговъ и свиста не стало слышно; свистѣлъ и вылъ весь воз-

духъ. Мы торопливо шли впередъ; всѣ около меня были цѣлы, и я самъ былъ цѣлъ. Это очень удивляло меня.

Вдругъ мы вышли изъ кустовъ. Дорогу пересѣкалъ глубокой оврагъ съ ручейкомъ. Люди отдохнули минуту и напиль воды.

Отсюда роты развели въ разныя стороны, чтобы охватить турокъ съ фланговъ; нашу роту оставили въ резервъ въ оврагѣ. Стрѣлки должны были идти прямо и, пройдя черезъ кусты, ворваться въ деревню. Турецкіе выстрѣлы трещали попрежнему часто, безъ умолку, но гораздо громче.

Выбравшись на другой берегъ оврага, Венцель построилъ свою роту. Онъ сказалъ людямъ что-то, чего я не слышалъ.

— Постараемся, постараемся! — раздались голоса стрѣлковъ.

Я смотрѣлъ на него снизу: онъ былъ блѣденъ и, какъ мнѣ показалось, печаленъ, но довольно спокоенъ. Увидѣвъ Ивана Платоныча и Стебелькова, онъ махнулъ имъ платкомъ, потомъ сталъ искать что-то глазами въ нашей толпѣ. Я догадался, что ему хочется проститься и со мной, и всталъ, чтобы онъ замѣтилъ меня. Венцель улыбнулся, кивнулъ мнѣ нѣсколько разъ головою и скомандовалъ ротѣ идти въ цѣпь. Кучки по четыре человека расходились вправо и влево, растянулись въ длинную цѣпь и разомъ исчезли въ кустахъ, кромѣ одного, который вдругъ рванулся всѣмъ тѣломъ, поднялъ руки и тяжело рухнулъ на землю. Двое изъ нашихъ выскочили изъ оврага и принесли тѣло.

Томительно прошло полчаса неизвестности.

Бой разгорался. Ружейный огонь учащался и перешелъ въ сплошной грозный вой. На правомъ флангѣ загремѣли пушки. Изъ кустовъ начали показываться идущіе и ползущіе окровавленные люди; сначала ихъ было мало, но съ каждой минутой становилось все больше и больше. Наши помогали имъ спускаться въ оврагъ, поили водой и укладывали, въ ожиданіи санитаровъ съ носилками. Стрѣлокъ, съ раздробленною кистью руки, страшно охая и закатывая глаза, съ посинѣвшимъ отъ потери крови и боли лицомъ, пришелъ самъ и сѣлъ у ручья. Ему за-

тянули руку, уложили на шинель; кровь остановилась. Его била лихорадка; губы дрожали, онъ всхлипывалъ, нервно и судорожно рыдая:

— Братцы, братцы!.. Земляки милые!..

— Много побили?

— Такъ и валятся.

— Ротный цѣль?

— Цѣль пока. Кабы не онъ, отбили. Возьмутъ. Съ нимъ возьмутъ, — слабымъ голосомъ говорилъ раненый. — Три раза водилъ, отбивали. Въ четвертый повелъ. Въ буеракъ сидятъ; патроновъ у нихъ—такъ и сѣютъ, такъ и сѣютъ... Да нѣтъ! — вдругъ злобно закричалъ раненый, привставъ и махая больной рукой: — шалишь! Шалишь, проклятый!..

И онъ, вращая изступленными глазами, выкрикнулъ страшное, грубое ругательство и повалился безъ чувствъ.

На берегу оврага показался Лукинъ.

— Иванъ Платонычъ! — закричалъ онъ не своимъ голосомъ:—ведите!

.....
Дымъ, трескъ, бѣшеное «ура!»... Запахъ крови и пороха... Закутанные дымомъ странные чужіе люди, съ блѣдными лицами. Дикая, нечеловѣческая свалка. Благодареніе Богу за то, что такіа минуты помнятся только какъ въ туманѣ.

.....
Когда мы подоспѣли, Венцель въ пятый разъ велъ остатокъ своей роты на турокъ, засыпавшихъ его свинцомъ. На этотъ разъ стрѣлки ворвались въ деревню. Немногіе изъ защищавшихъ ее въ этомъ мѣстѣ турокъ успѣли убѣжать. Вторая стрѣлковая рота потеряла въ два часа боя пятьдесятъ два человѣка изъ ста съ небольшимъ. Наша рота, мало принимавшая участія въ дѣлѣ,—нѣсколько человѣкъ.

Мы не остались на отбитой позиціи, хотя турки были сбиты повсюду. Когда нашъ генералъ увидѣлъ, что изъ деревни выходятъ на шоссе батальонъ за батальономъ, двигаются массы кавалеріи и тянутся длинныя вереницы пушекъ, онъ ужаснулся.

Очевидно, турки не знали нашихъ силъ, скрытыхъ кустами: если бы имъ было извѣстно, что всего только четырнадцать ротъ выбили ихъ изъ глубокихъ дорогъ, рытвинъ и плетней, окружавшихъ деревню, они вернулись бы и раздавили насъ. Ихъ было втрое больше.

Вечеромъ мы были уже на старомъ мѣстѣ. Иванъ Платонычъ позвалъ меня пить чай.

— Венцеля видѣли?—спросилъ онъ.

— Нѣтъ еще.

— Подите къ нему въ палатку, позовите къ намъ. Убивается человекъ. «Пятьдесятъ два! Пятьдесятъ два!» — только и слышно. Подите къ нему.

Тонкій огарокъ слабо освѣщалъ палатку Венцеля. Прижавшись въ уголку палатки и опустивъ голову на кокой-то ящикъ, онъ глухо рыдалъ.

АЛЕКСѢЙ ЛИПЕЦКІЙ.

ВЪ ОКОПАХЪ.

Тамъ гдѣ-то далеко, за темнымъ окопомъ
Подсолнухъ пахнетъ и пахнетъ укропомъ,
Лозина къ плетню прислонилась и ждетъ,
Когда молодайка къ колодцу пойдетъ.

Знакомая хата въ четыре окошка,
Корова и овцы и сѣрая кошка—
Все мирно, и осень, какъ добрая мать,
Готовится плодъ перезрѣлый снимать,

А здѣсь вотъ могилы въ землѣ красноватой
Разрыты послушной солдатской лопатой,
И съ хохотомъ дьявольскимъ рвется шрапнель,
И съ глиной смѣшалась и мокнетъ шинель,

Ненастное небо свинцовѣ пепла,
Отъ дыма земля, какъ старуха, ослѣпла
Что-бъ не было,—Прохоръ, Иванъ, Еромолай,—
Раздумью не время—лежи и стрѣляй!

Найдется мишень въ непріятельскомъ войскѣ;
Какъ ты, она встрѣтится съ пулей геройски,
И небо, не зная кровавой борьбы,
Оплачетъ обоихъ подъ грохотъ стрѣльбы.

ГЮИ ДЕ-МОПАСАНЬ

МАДМУАЗЕЛЬ ФИФИ.

Прусскій командиръ, майоръ, графъ де-Фарельсбергъ кончалъ читать свою почту, углубившись въ большое кресло и опираясь ногами, обутыми въ ботфорты, на изящный мраморный каминъ, на котромъ его шпоры за три мѣсяца его пребыванія въ замкѣ д'Ювилль, прорѣзали глубокія выбоины.

Чашка кофе дымилась на украшенномъ деревянной мозаикой столикѣ, залитомъ ликерами, прожженномъ сигарами и изрѣзанномъ перочиннымъ ножомъ офицера-побѣдителя, испещрявшего изящную доску цифрами или рисунками, сообразно съ красотами фантазій, въ часы праздной мечтательности.

Прочитавъ письма и нѣмецкія газеты, принесенныя ему вагенмейстеромъ, онъ всталъ и, подбросивъ въ огонь три-четыре огоромныхъ полѣна,—завоеватели вырубали деревья парка для того, чтобы топить каминъ,—подошелъ къ окну.

Дождь лилъ ливмя, нормандскій дождь, который, кажется, бросаетъ чья-то обезумѣвшая рука, косою дождь, плотный, какъ занавѣсъ, образующій что-то вродѣ стѣны съ наклонными рубцами, хлещущій, ослѣпляющій дождь, потопляющій все, дождь,

который льется съ такой силой только въ окрестностях Руана, ночного горшка Франціи.

Офицеръ долго смотрѣлъ на затопленныя лужайки и на вздувшійся Анделль. Онъ началъ выстукивать по стеклу рейнскій вальсъ, но шумъ шаговъ заставилъ его обернуться. Это вошелъ его помощникъ, баронъ де-Кельвейнгштейнъ, имѣвшій чинъ капитана.

Майоръ былъ человѣкъ огромнаго роста, широкоплечій, съ длинной бордой-вѣеромъ, спускавшейся, какъ покрывало, на его грудь. Всею своею высокою, величественною фигурой онъ напоминалъ павлина въ военной формѣ, распустившаго свой хвостъ на подбородкѣ. У него были голубые холодные и кроткіе глаза. Одна щека была разсѣчена сабельнымъ ударомъ во время войны съ Австріей. Про него говорили, что онъ хорошій человѣкъ и храбрый офицеръ.

Капитанъ былъ маленькаго роста, краснощекій, толстобрюхій и очень сильный. Его лицо съ ярко рыжими волосами было гладко выбрито и въ извѣстномъ освѣщеніи казалось натертымъ фосфоромъ. У него не хватало двухъ зубовъ, которые онъ потерялъ во время кутежа, когда былъ такъ пьянъ, что это событіе совершенно исчезло изъ его памяти, и потому онъ выплевывалъ жирнымъ баскомъ не всегда понятныя фразы. Его лысина напоминала тонзуру монаха и была окружена коротенькими кудрявыми золотистыми блестящими волосами.

Командиръ пожалъ ему руку и выпилъ однимъ глоткомъ чашку кофе (шестую за это утро), выслушивая рапортъ своего подчиненнаго. Потомъ они оба подошли къ окну и заявили, что во всемъ этомъ не было ничего веселаго. Майоръ былъ человѣкъ съ покойнымъ характеромъ, женатый и легко приспособляющійся ко всѣмъ обстоятельствамъ жизни. Капитанъ, баронъ де-Кельвейнгштейнъ былъ, наоборотъ, упорнымъ жуиромъ, завсегдатаемъ кабачковъ, волокитой, и его раздражало вынужденное цѣломудріе, на которое онъ былъ обреченъ за три мѣсяца пребыванія въ этомъ затерянномъ пунктѣ.

Въ эту минуту постучали въ дверь. Командиръ крикнулъ,

чтобы вошли, и на пороге появился солдатъ, одинъ изъ солдатъ, похожихъ на автоматовъ, возвѣстившій своимъ появленіемъ, что завтракъ готовъ.

Въ столовой находились три офицера низшаго ранга: поручикъ Отто де-Гросслингъ и два подпоручика, Фрицъ Шёнобургъ и маркизъ Вильгельмъ д'Эйрикъ, крошечный блондинъ, гордый и грубый въ обращеніи съ солдатами, свирѣпый съ побѣжденными и жестокий, какъ огнестрѣльное оружіе.

Со времени вторженія во Франціи товарищи прозвали его мадмуазель Фифи за его кокетливую внѣшность, тонкую талію, такую тонкую, словно онъ носилъ корсетъ, за блѣдное лицо, на которомъ еле-еле пробивались усики, и за его привычку постоянно употреблять для выраженія своего презрѣнія ко всему на свѣтѣ французское словечко *fi, fi donc*, которое онъ произносилъ съ легкимъ присвистываніемъ.

Столовая замка д'Ювилля была огромная, покоролевски убранная комната. Старинныя хрустальныя зеркала были пробиты пулями. Великолѣпныя фландрскіе ковры, развѣшенные на стѣнахъ, были прорѣзаны сабельными ударами, а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ свистали, какъ лохмотья. Это было дѣломъ рукъ мадмуазель Фифи, забавлявшагося въ часы праздности.

На стѣнахъ висѣло три фамильныхъ портрета: воинъ, закованный въ желѣзо, кардиналъ и президентъ. Въ ихъ рты были воткнуты длиныя фарфоровыя трубки. Портретъ благородной дамы, съ туго стянутой грудью, въ выцвѣтшей отъ времени рамѣ, былъ украшенъ нарисованными углемъ надменными гигантскими усами.

Офицеры завтракали молча въ этой изуродованной, печальной комнатѣ, окна которой были затемнены дождевыми струями и старинный дубовый паркетъ который былъ такимъ же омерзительнымъ, какъ заплесанный полъ кабачковъ.

Кончивъ завтракъ, офицеры стали курить, пить и, какъ всегда, жаловаться на скуку. Бутылка съ коньякомъ переходила изъ рукъ въ руки. Опрокинувшись на стульяхъ, они пили маленькими глотками, не выпуская изъ рта длинныхъ изогнутыхъ тру-

бокъ, кончавшихся фарфоровыми яйцами, расписанными такъ пестро и ярко, словно они были предназначены для обольщенія готтентотовъ.

Опорожнивъ рюмку, они рѣшительнымъ жестомъ наполнили ее. Мадмуазель Фифи всякій разъ разбивалъ свою рюмку, и солдатъ подавалъ ему другую.

Ихъ окружалъ туманъ ѣдкаго табачнаго дыма, и они были во власти печальнаго и полусоннаго опьянѣнія, мрачнаго опьянѣнія, овладѣвающаго людьми, которымъ нечего дѣлать.

Баронъ вдругъ выпрямился и съ раздраженіемъ сталъ ругаться:

— Чортъ возьми, это не можетъ такъ продолжаться; въ концѣ концовъ, нужно выдумать что-нибудь!

Поручикъ Отто и подпоручикъ Фрицъ, обладавшіе типичными нѣмецкими лицами, жирными и важными, спросили въ одинъ голосъ:

— Что выдумать, капитанъ?

Онъ подумалъ нѣсколько минутъ и продолжалъ:

— Что выдумать? Нужно устроить оргію, если командиръ позволитъ.

Майоръ вынулъ изо рта трубку:

— Какую оргію, капитанъ?

Баронъ подошелъ къ нему:

— Я возьму всѣ хлопоты на себя, командиръ. Долгъ отправится по моему порученію въ Руанъ и привезетъ дамъ. Я знаю, гдѣ ихъ достать. Намъ приготовить ужинъ, въ провизіи у насъ нѣтъ недостатка, и мы проведемъ пріятный вечеръ.

Графъ де-Фарльсбергъ, улыбаясь, пожалъ плечами:

— Вы съ ума сошли, другъ мой.

Но другіе офицеры тоже встали, окружили своего начальника и стали умолять его:

— Командиръ, позвольте капитану распорядиться, какъ онъ хочетъ, здѣсь такая тоска!

Въ концѣ-концовъ, майоръ сдался:

— Хорошо,—сказалъ онъ. Долгъ сейчасъ же былъ поз-

ванъ барономъ. Это былъ старый фельдфебель, никогда не смѣявшійся и фанатически выполнявшій приказанія своихъ начальниковъ, каковы бы они ни были.

Стоя, съ безстрастнымъ лицомъ, онъ выслушалъ барона, потомъ вышелъ и черезъ пять минутъ огромный походный фургоны, обтянутый брезентомъ, помчался, увлекаемый четырьмя лошадьми.

Настроение офицеровъ сейчасъ же прояснилось. Они выпрямились, лица ихъ оживились и они стали разговаривать.

Хотя дождь продолжалъ лить съ прежней яростью, майоръ заявилъ, что стало свѣтлѣй, а подпоручикъ Отто подтвердилъ съ увѣренностью, что небо очищается. Мадмуазель Фифи не могъ сидѣть спокойно. Онъ то вскакивалъ, то опять садился. Жесткій взглядъ его свѣтлыхъ глазъ разыскивалъ, что еще можно уничтожить. Неожиданно взглянувъ на даму съ усами, юный блондинъ вытащилъ револьверъ.

— Ты не увидишь этого,—сказалъ онъ, и, не покидая своего мѣста, выстрѣлилъ. Двѣ пули поочередно пробили глаза портрета.

Потомъ онъ крикнулъ:

— Сдѣлаемъ взрывъ!

Разговоры сейчасъ же смолкли, словно нѣчто неотрожимое и новое овладѣло всѣми.

«Взрывъ»—это было изобрѣтеніе и любимое развлеченіе мадмуазель Фифи.

Покидая свой замокъ, законный владѣлецъ его, графъ Фернандъ д'Ювилль не успѣлъ ничего унести и спрятать, за исключеніемъ серебряной посуды, которую сложили въ расщелину стѣны. Такъ какъ онъ былъ очень богатъ и любилъ роскошь, то его гостиная, слѣдовавшая за столовой, представляла собой, до бѣгства хозяина, галерею музея.

На стѣнахъ висѣли картины, рисунки и цѣнныя акварели, этажерки и элегантныя витрины были переполнены массой драгоценныхъ и причудливыхъ бездѣлушекъ, разбросанныхъ по огромной гостиной. Тутъ были китайскія вазы, статуэтки, сак-

сонскія фигурки, китайскія уродцы, старинная слоновая кость, венеціанскій хрусталь.

Теперь отъ всего этого ничего не осталось. Ихъ не раскрали. Майоръ, графъ де-Фарльсбергъ этого не позволилъ бы. Но мадамъ Фифи время отъ времени устраивалъ «взрывъ», и всѣ офицеры искренно забавлялись этимъ въ теченіе пяти минутъ.

Маленькій маркизъ отправился въ гостиную и принесъ оттуда прелестный китайскій чайникъ серіи Розы, наполнилъ его пушечнымъ порохомъ, осторожно всунулъ въ носикъ длинный кусокъ трута, зажегъ его и побѣждалъ отнести адскую машину въ гостиную.

Онъ сейчасъ же вернулся, затворивъ за собой дверь. Нѣмцы стали дожидаться, стоя и улыбаясь, какъ любопытныя дѣти, и, когда взрывъ потрясъ замокъ, они бросились въ гостиную.

Мадмуазель Фифи вошелъ первымъ и съ восхищеніемъ захопалъ въ ладоши, увидѣвъ, что у терракотовой Венеры отвалилась голова. Офицеры поднимали кусочки фарфора, удивлялись страннымъ изрѣзамъ краевъ, изслѣдовали новыя поврежденія, изъ которыхъ нѣкоторыя они относили къ предшествовавшему взрыву. Майоръ съ отеческимъ видомъ разсматривалъ обширную гостиную, изуродованную «нероновскими взрывами» и усѣянную остатками драгоценныхъ вещей. Онъ вошелъ первымъ, добродушно заявилъ:

— На этотъ разъ хорошо удалось.

Въ столовой было невозможно дышать изъ-за облаковъ табачнаго дыма и дыма отъ взрыва. Командиръ отворилъ окно, и всѣ офицеры, пришедшіе выпить послѣднюю рюмку коньяка, тоже подошли къ окну.

Комната наполнилась влажнымъ воздухомъ водяной пылью, мелкими капельками осѣвшей на бородахъ, и запахомъ водяныхъ потоковъ. Они глядѣли на высокія деревья, сгибавшіяся подъ ливнемъ, на широкую долину, затуманенную дождемъ, лившимся изъ темныхъ, низкихъ тучъ, и на колокольню, вырѣзавшуюся какъ сѣрое остріе.

Со времени ихъ прибытія, на колокольнѣ не звонили. Это было единственнымъ протестомъ, встрѣтившимъ побѣдителей въ этой мѣстности. Кюрэ не отказывался принимать на постой и кормить прусскихъ солдатъ. Онъ даже нѣсколько разъ распивалъ бутылку пива или бордо съ непріятельскимъ командиромъ, пользовавшимся имъ, какъ благодушнымъ посредникомъ. Но онъ не допускалъ, чтобы колокола звонили. Онъ скорѣй предпочелъ бы, чтобы его разстрѣляли. Онъ, такимъ образомъ, протестовалъ противъ завоеванія его края, протестовалъ мирно и молчаливо, какъ подобаетъ священнику, которому приличествуетъ, по его мнѣнію, вносить кротость въ нравы и не проливать крови. И всѣ жители на разстояніи десяти льё въ окрестности восхваляли твердость и героизмъ аббата Шантавуана, осмѣливагося возвѣстить народный трауръ упорнымъ молчаніемъ своей колокольни.

Селеніе было въ восторгѣ отъ этого протеста и готово было поддерживать своего пастыря до конца, рисковать всѣмъ, такъ какъ оно видѣло въ этомъ молчаливомъ сопротивленіи спасеніе національнаго достоинства. Крестьянамъ казалось, что они такъ же заслуживали уваженіе отечества, какъ жители Бельфора и Страсбурга, что они подавали такой же примѣръ, что имя ихъ деревушки станетъ безсмертнымъ. За исключеніемъ этого они ни въ чемъ не отказывали пруссакамъ-побѣдителямъ.

Командиръ и офицеры педсмѣивались надъ этимъ безобиднымъ мужествомъ, но такъ какъ жители были внимательны къ нимъ, они охотно прощали имъ безмолвное выраженіе патриотизма.

Только маленькому маркизу Вильгельму очень хотѣлось, чтобы колокола зазвонили. Онъ сердился на снисходительность своего начальника и умолялъ своего командира только одинъ разъ, только одинъ разочекъ позволить ему прозвонить «Динъ-донъ-донъ», чтобы позабавиться. Онъ умолялъ съ кошачей граціей, съ чисто женскими ласками, нѣжнымъ голосомъ любовницы, жаждущей добиться исполненія своего желанія. Командиръ не здавался, и мадмуазель Фифи, чтобы утѣшиться,

производилъ «взрывы» въ замкѣ д'Ювилль.

Въ теченіе нѣсколькихъ минутъ мужчины стояли возлѣ окна, вдыхая влажный воздухъ. Поручикъ Фрицъ произнесъ съ жирнымъ смѣхомъ:

— Этимъ дѣвицамъ не особенно пріятно будетъ путешествовать въ такую погоду.

Потомъ всѣ разошлись по своимъ комнатамъ, а капитанъ занялся распоряженіями относительно ужина.

Встрѣтившись снова вечеромъ, офицеры не могли удержаться отъ смѣха: они всѣ стали такими кокетливыми и блестящими, какъ въ дни большихъ парадовъ, напомаженные, надушенные, свѣженькіе. Волосы командира были не такіе сѣдые, какъ утромъ, а капитанъ обрился, оставивъ только усы, пламенными искрами переливавшіеся у него подъ носомъ.

Несмотря на дождь, окно было раскрыто, и они поочередно, ходили слушать. Въ шесть часовъ десять минутъ баронъ услышалъ отдаленный топотъ. Всѣ бросились къ окну, и вскорѣ появился огромный фургонъ, который мчали галопомъ четыре лошади, дымившіяся и запыхавшіяся, перепачканныя до ушей.

Пять женщинъ вышли на подъѣздъ, пять красивыхъ дѣвушекъ, заботливо выбранныхъ товарищемъ капитана, которому Долгъ передалъ письмо своего офицера. Онѣ не заставили себя упрашивать, такъ какъ были увѣрены, что имъ хорошо заплатятъ и, кромѣ того, онѣ были въ достаточной мѣрѣ ознакомлены съ пруссаками за послѣдніе два мѣсяца.

— Это требуетъ ремесло, — говорили онѣ по дорогѣ для того, вѣроятно, чтобы заглушить слабые остатки угрызений совѣсти.

Вошли въ столовую. Она была ярко освѣщена и потому казалась еще болѣе мрачной и обезображенной. Столъ былъ уставленъ блюдами и серебряной посудой, которую нашли въ расщелинѣ стѣны, гдѣ ее спрятали владѣлецъ. Комната походила на таверну бандитовъ, ужинающихъ послѣ грабежа. Сіяющій капитанъ завладѣлъ женщинами съ привычной фамиллярностью, оцѣнивалъ ихъ, цѣловалъ ихъ, обнюхивалъ и, когда трое другихъ

офицеровъ захотѣли выбрать себѣ женщинъ, онъ рѣзко воспротивился этому, предоставивъ себѣ право дѣлеж, сообразно съ чиномъ присутствующихъ, чтобы не оскорбить іерархическаго начала.

Для того, чтобы избѣжать споровъ, неудовольствій и подозрѣній въ пристрастіи, онъ выровнялъ женщинъ по росту и по начальнически сказалъ, обращаясь къ самой высокой:

— Твое имя?

Она отвѣтила низкимъ голосомъ:

— Памела.

Тогда онъ объявилъ:

— Номеръ первый, Памела, принадлежитъ командиру.

Вторую, блондинку, онъ поцѣловалъ, какъ свою собственность. Поручику Отто предложилъ толстую Аманду, подпоручику Фрицу Еву-Томать, а самая маленькая, Рашель, молоденькая брюнетка, съ черными, какъ чернильные пятна, глазами, съ вздернутымъ носомъ, подтверждавшимъ законъ, по которому всѣ евреи обладаютъ изогнутыми клювами, досталась хрупкому маркизу, Вильгельму д'Эйрику.

Всѣ онѣ были красивы и толсты и похожи другъ на друга манерами и цвѣтомъ кожи, благодаря ежедневнымъ занятіямъ любовью и совмѣстной жизни въ публичномъ домѣ.

Три молодыхъ офицера сейчасъ же хотѣли увести своихъ женщинъ, подъ предлогомъ, что они хотятъ предложить имъ щетокъ и мыла, чтобы привести себя въ порядокъ. Капитанъ мудро воспротивился этому, утверждая, что онѣ были достаточно чисты, чтобы сѣсть за столъ, и что тѣ, которые пойдутъ съ ними, вернувшись, захотятъ мѣняться и разстроить другія пары. Его опытность заставляла его быть стойкимъ.

Офицеры ограничились поцѣлуями, въ ожиданіи дальнѣйшаго.

Вдругъ Рашель задохнулась, раскашлялась до слезъ и стала выпускать дымъ изъ ноздрей; маркизъ, цѣлуя ее, впустилъ ей въ ротъ табачный дымъ. Она не разсердилась, ничего не сказала.

и только пристально взглянула на своего властелина гнѣвно блеснувшими черными глазами.

Всѣ усѣлись. Даже командиръ былъ, повидимому, очень доволенъ; посадивъ справа отъ себя Памелу и слѣва блондинку, онъ сказалъ, развертывая салфетку:

— Это очаровательная выдумка, капитанъ.

Поручики Отто и Фрицъ были вѣжливы съ своими сосѣдками, какъ съ свѣтскими женщинами, и онѣ немного робѣли. Но баронъ де-Кельвейнгштейнъ, окунувшись въ родную стихію, сіялъ, выпаливалъ скабрёзности, и его рыжіе волосы пылали огненнымъ вѣнкомъ на его головѣ. Онъ говорилъ галантныя фразы на французско-рейнскомъ нарѣчьи, и его кабацкіе комплименты, выскакивая изо рта, въ которомъ не хватало двухъ зубовъ, долетали до дѣвушекъ въ брызгахъ слюны.

Онѣ, впрочемъ, ничего не понимали, и ихъ умственная дѣятельность пробуждалась только тогда, когда онъ своимъ изуродованнымъ выговоромъ выплевывалъ гнусныя слова и грубыя выраженія. Тогда онѣ начинали хохотать, какъ безумныя, припадая къ животамъ своихъ сосѣдей и повторяя фразы, которыя баронъ нарочно коверкалъ, чтобы заставить ихъ говорить гадости. Онѣ опьянѣли отъ первыхъ же бутылокъ и сыпали циничными словами. Почувствовавъ себя, какъ дома, онѣ цѣловали своихъ сосѣдей, щипали ихъ за руки, дико кричали, пѣли французскіе куплеты и обрывки нѣмецкихъ пѣсенокъ, выученныхъ ими за послѣднее время, когда онѣ ежедневно встрѣчались съ непріятельскими офицерами.

Мужчины тоже, опьяненные близостью женскихъ тѣлъ, обезумѣли, стали кричать и бить посуду, въ то время какъ солдаты прислуживали имъ съ безстрастнымъ видомъ.

Только командиръ велъ себя сдержанно. Мадмуазель Фифи, посадивъ Рашель къ себѣ на колѣни, охваченный холодной страстью, безумно цѣловалъ черныя кудряшки на ея шеѣ, вдыхая запахъ ея тѣла между воротомъ платья и нѣжной кожей. Потомъ имъ овладѣвала жестокость, страсть къ разрушенію и уни-

чтоженію, и онъ бѣшено щипалъ ее, такъ что она начинала кричать. Иногда онъ обнималъ ее съ такой силой, словно, желалъ слиться съ ней, и впивался такимъ поцѣлуемъ въ ея свѣжія губы, что унея захватывало дыханіе. Потомъ онъ неожиданно такъ сильно укусилъ ее, что струйка крови потекла по подбородку молодой женщины и стала капать на ея корсажъ.

Она еще разъ пристально посмотрѣла на него и, вытирая ранку, пробормотала:

— За это расплачиваются.

Онъ жестко разсмѣялся и сказалъ:

— Я заплачу.

Подали десертъ. Стали пить шампанское. Командиръ всталъ и такимъ же тономъ, какъ если бы онъ сказалъ: «за здоровье императрицы Августы», провозгласилъ тостъ:

— За нашихъ дамъ!

Началась серія тостовъ, галантныхъ тостовъ пьяницъ и мошенниковъ, перемѣшанныхъ съ безстыдными шутками, еще болѣе циничными изъ-за плохого знанія языка.

Офицеры вставали одинъ за другимъ, стараясь быть остроумными и забавными. Женщины, совсѣмъ пьяныя, съ трудомъ удерживая равновѣсіе, съ блуждающими глазами и мокрыми губами, всякій разъ бѣшено аплодировали.

Капитанъ, желая, безъ сомнѣнія, придать оргіи галантный характеръ, приподнялъ еще разъ свой бокалъ и провозгласилъ:

— За наши побѣды надъ сердцами!

Тогда поручикъ Отто, похожій на медвѣдя изъ Чернаго лѣса, вскочилъ, еле держась на ногахъ и внезапно охваченный патріотизмомъ, подъ вліяніемъ поглощеннаго имъ алкоголя, закричалъ:

— За наши побѣды надъ Франціей!

Несмотря на свое опьяненіе, женщины стихли. Рашель вздрогнула и повернулась къ нему:

— Послушай, я знаю французовъ, въ присутствіи которыхъ ты не сказалъ бы этого.

Маленькій маркизъ, не выпуская ее изъ своихъ объятій, засмѣялся, охваченный пьяной веселостью:

— Я никогда таких не видѣлъ. Какъ только мы появляемся, они удираютъ!

Огорченная дѣвушка крикнула ему прямо въ лицо:

— Ты лжешь, негодяй!

Въ теченіе одной секунды онъ смотрѣлъ на нее своими свѣтлыми глазами, точно такъ же, какъ смотрѣлъ на портреты, которымъ пробивалъ глаза револьвернымъ выстрѣломъ, потомъ разсмѣялся:

— Такъ, такъ, моя красавица! Но, развѣ были бы мы здѣсь, если бы они были храбры!—И онъ воодушевился.—Мы ихъ господа! Намъ принадлежитъ Франція!

Она быстро вскочила съ его колѣнъ и сѣла на свой стулъ. Онъ всталъ, поднялъ свой бокалъ надъ столомъ и сказалъ:

— Намъ принадлежитъ Франція и французы, лѣса, поля и дома Франціи!

Другіе офицеры, тоже пьяные, охваченные внезапно военнымъ энтузіазмомъ звѣрей, подняли свои бокалы, крича: «Да здравствуетъ Пруссія!» и опорожнили ихъ однимъ глоткомъ.

Дѣвушки не протестовали и сидѣли испуганныя. Даже Рашель молчала, не зная, что сказать.

Тогда маленькій маркизъ, поставивъ бокалъ съ шампанскимъ на голову еврейки, крикнулъ:

— Намъ принадлежать и всѣ женщины Франціи!

Она вскочила такъ быстро, что бокалъ опрокинулся, обливъ желтымъ виномъ, какъ если бы ее неожиданно окрестили, ея черные волосы и упалъ на полъ, разбившись со звономъ. Пристально глядя на смѣявшагося офицера, она пробормотала трепещущими губами, голосомъ, дрожавшимъ отъ гнѣва:

— Это... это... это неправда, вамъ никогда не будутъ принадлежать женщины Франціи.

Онъ усѣлся, смѣясь отъ всего сердца, и сказалъ, стараясь уловить парижскій акцентъ:

— Она очень мила, очень мила; но за какимъ дѣломъ ты пріѣхала сюда, моя крошка?

Она была озадачена и молчала, до того взволнованная, что сначала ничего не могла понять. Но какъ только она разобралась въ смыслѣ его фразы, она крикнула съ мужественнымъ негодованіемъ:

— Я? но я—не женщина, я—шлюха. Приссакамъ только этого и нужно...

Она не dokonчила, потому что онъ изо всей силы ударилъ ее по щекѣ. И, когда онъ хотѣлъ ударить ее еще разъ, она, обезумѣвъ отъ гнѣва, схватила со стола маленький десертный ножъ съ серебрянымъ лезвіемъ и быстро, такъ что никто ничего не замѣтилъ, вонзила его ему въ шею, въ падину, гдѣ начинается грудь.

Слова застряли въ его горлѣ. Онъ стоялъ съ раскрытымъ ртомъ и ужаснымъ взглядомъ.

Всѣ зарычали и съ шумомъ вскочили со своихъ мѣстъ. Но она, бросивъ стулъ подъ ноги поручику Отто, растянувшемуся во весь ростъ, подбѣжала къ окну, растворила его такъ проворно, что никто не успѣлъ ее схватить, и выскочила въ ночную тьму, пронизанную лившимся дождемъ.

Черезъ десять минутъ мадмуазель Фифи умеръ. Фрицъ и Отто въ бѣшенствѣ хотѣли сейчасъ же убить женщину, ползавшихъ у ихъ ногъ, и майору не безъ труда удалось предотвратить эти убійства и запереть въ комнатѣ, приставивъ стражу изъ двухъ солдатъ, четырехъ растерявшихся женщинъ. Потомъ онъ раздѣлил солдатъ на группы, организуя преслѣдованіе бѣглянки, которую, онъ былъ увѣренъ, поймаютъ.

Пятьдесятъ солдатъ, уstraшенные угрозами, бросились въ паркъ. Двѣсти другихъ солдатъ стали обыскивать лѣсъ и дома въ долину.

Въ одну минуту убрали со стола и положили на него мертвеца. Офицеры отрезвились и, выпрямившись, съ жесткимъ выраженіемъ лицъ солдатъ на своемъ посту, стояли возлѣ оконъ, глядя въ ночную тьму.

Дождь лилъ ливня. Шумъ капель слышался во тьмѣ,—трепетный шопотъ воды, льющейся, текущей, стекающей, и струящейся.

Вдругъ раздался выстрѣлъ, потомъ другой, очень далеко; и въ теченіе четырехъ часовъ слышались время отъ времени отдаленные и близкіе выстрѣлы, перекликавшіеся крики и странные слова, раздававшіеся, какъ призывы, горловыми звуками.

Утромъ всѣ вернулись. Два солдата были убиты и четверо ранены своими товарищами въ пылу поисковъ и сумятицы ночного преслѣдованія.

Рашель не нашли.

Тогда терроризировали жителей, перерыли вверхъ дномъ ихъ жилища, обыскали всю мѣстность. Еврейка не оставила никакихъ слѣдовъ.

Генераль, которому сообщили объ этомъ дѣлѣ, приказалъ замять его, чтобы не подавать дурного примѣра арміи, и наказалъ дисциплинарнымъ взысканіемъ командира, который, въ свою очередь, наказалъ своихъ подчиненныхъ. Генераль сказалъ:

Воюють не для того, чтобы забавляться и цѣловать публичныхъ женщинъ.

Графъ де-Фарльсбергъ, очень огорченный, рѣшилъ отомстить этой мѣстности.

Чтобы найти какой-нибудь предлогъ, онъ позвалъ кюрэ и приказалъ ему звонить въ колокола во время погребенія маркиза д'Эйрика.

Противъ всякаго ожиданія священникъ выказалъ полную готовность, смиреніе и послушаніе. И когда солдаты вынесли тѣло мадмуазель Фифи, за которымъ слѣдовали солдаты съ заряженными ружьями, изъ замка д'Ювилль, слѣдуя по пути къ кладбищу, въ первый разъ раздался похоронный звонъ. Колокола звонили весело, словно ихъ ласкала дружеская рука.

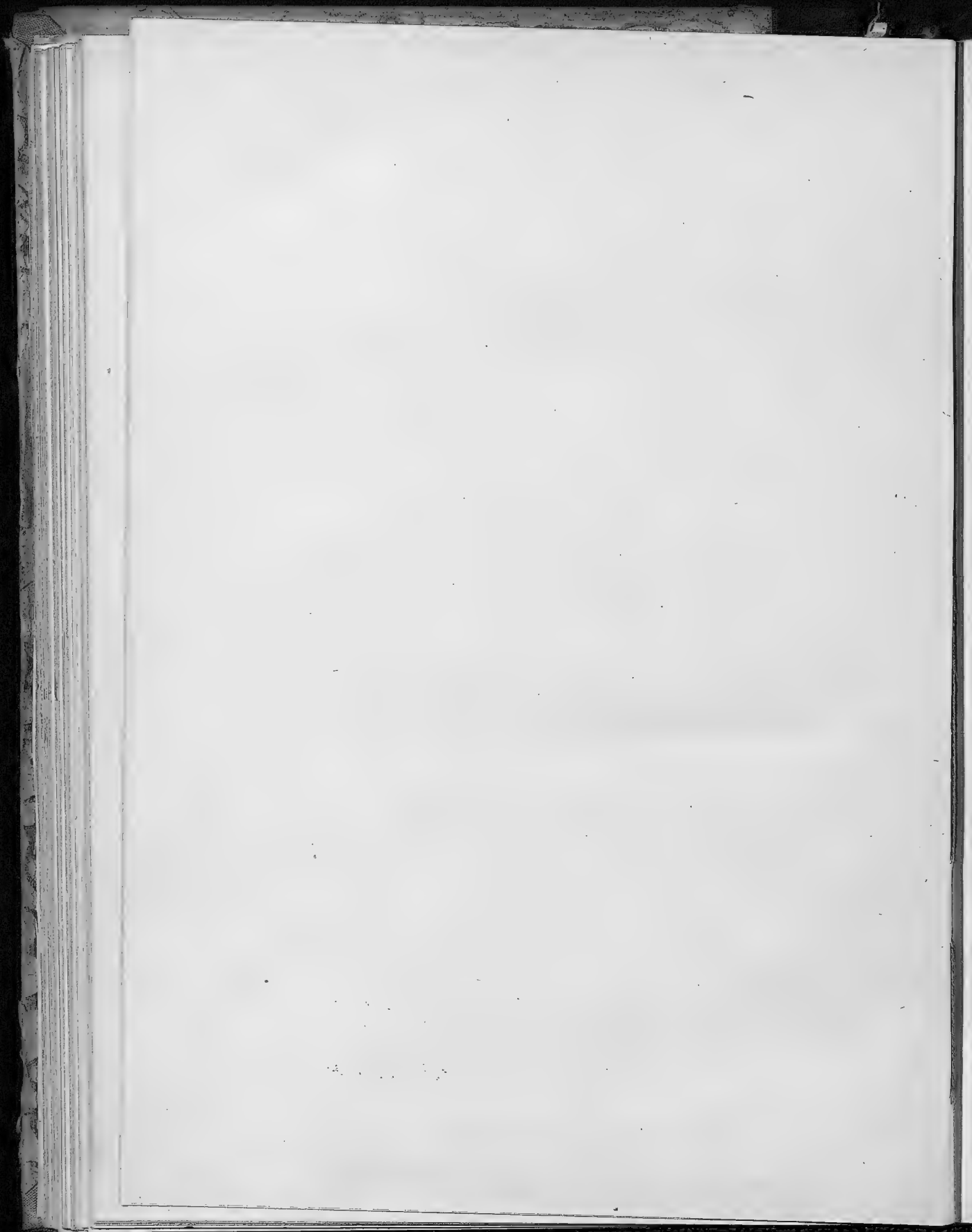
Они звонили вечеромъ, на слѣдующій день и потомъ ежедневно. Иногда даже ночью они начинали звонить, нѣжно бросая въ темноту два-три звука. Крестьяне тогда заявили, что ко-

локола заколдованы, и никто, кромѣ священника и пономаря, не приближался къ колоколамъ.

На колокольнѣ въ тоскѣ и одиночествѣ жила бѣдная дѣвушка, которую тайкомъ кормили эти два человѣка.

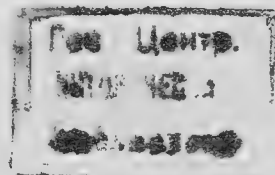
Она оставалась тамъ до отбытія нѣмецкихъ войскъ. Потомъ, однажды вечеромъ, кюре попросилъ у булочника шарбанъ и самъ довезъ свою плѣнницу до Руана. Тамъ священникъ поцѣловалъ ее. Она соскочила и быстро добѣжала до публичнаго дома, хозяйка котораго считала ее мертвой.

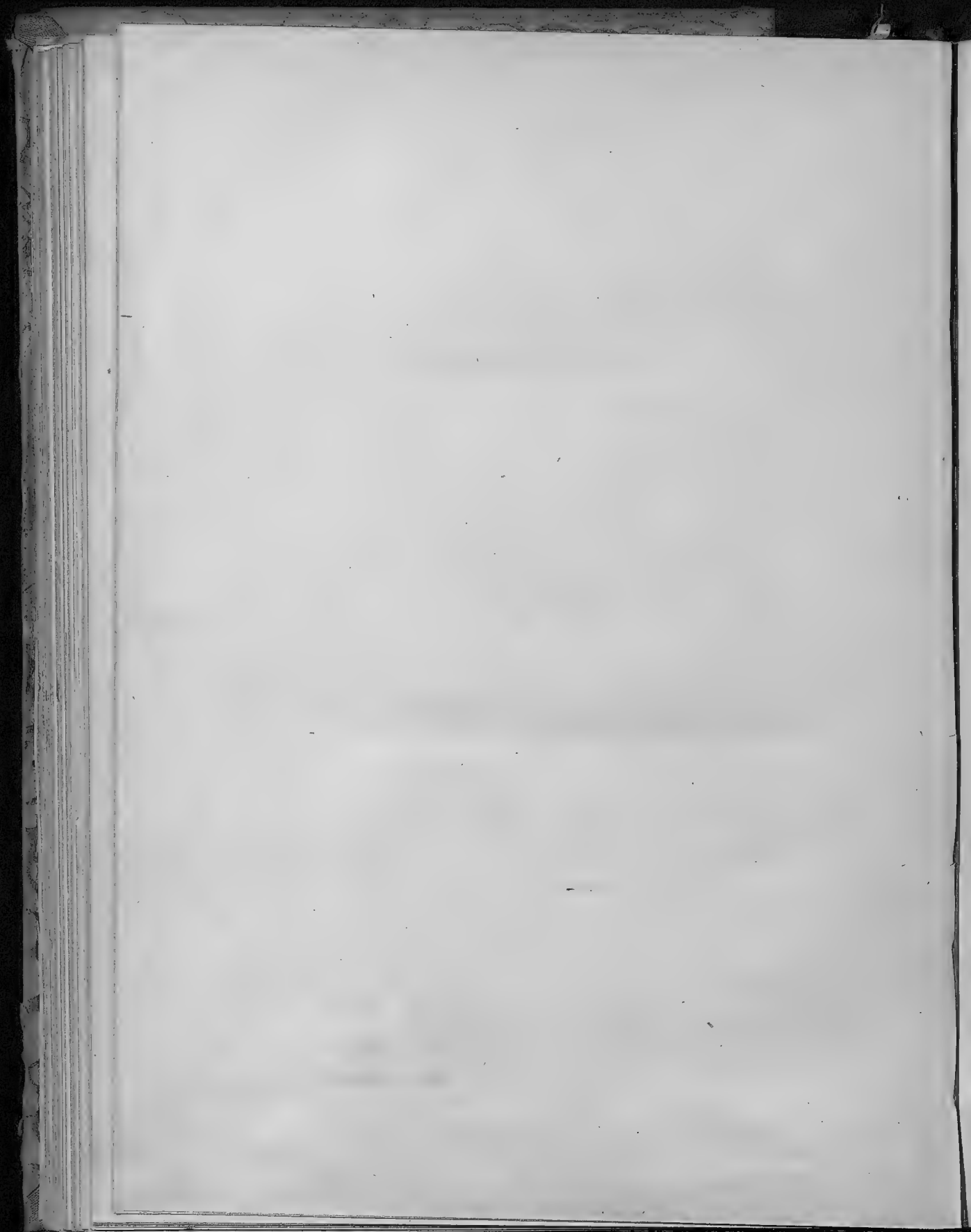
Вскорѣ ее выкупилъ оттуда патріотъ безъ предразсудковъ, полюбившій ее за ея прекрасный поступокъ. Потомъ онъ влюбился въ нее, женился на ней и она стала дамой, точно такой же, какъ и другія дамы.



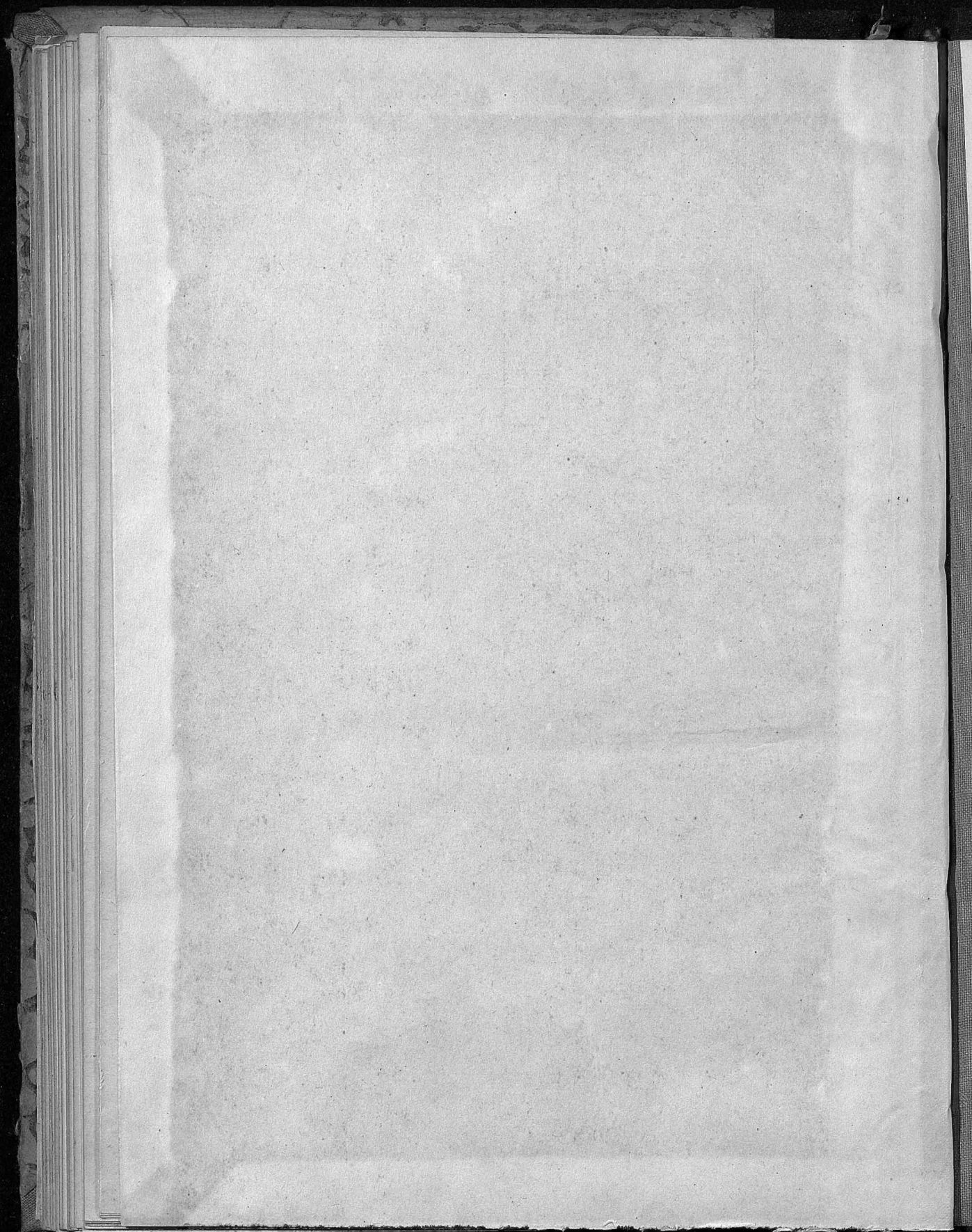
Содержаніе:

М. Арцыбашевъ. — Война.....	стр. 5
Федоръ Сологубъ.—На начинающаго Богъ...	» 9
А. Купринъ.—О войнѣ.....	11
Валерій Брюсовъ.—Польшѣ.....	» 15
Гр. Ал. Н. Толстой.—Максъ Вукъ.....	» 17
Вл. Маяковскій.—Война объявлена!.....	» 23
Ник. Архиповъ.—Вильгельмъ П и Ж. Тяпкинъ	» 25
Сергѣй Городецкій.—Явленіе народа.....	» 43
В. Немировичъ-Данченко.—Слово Нибелунга.	» 45
Александръ Рославлевъ.—Вильгельму.	» 53
Танъ.—Вишневый садъ.	» 55
Буква.—Вильгельмъ П... ..	» 57
Сергѣй Кречетовъ.—На міровомъ пути.....	» 71
Юрій Соболевъ.—Гаршинъ на войнѣ.....	» 73
П. Берлинъ.—Двѣ Германіи... ..	» 85
М. Моравская.—Радости громкой не надо.....	» 97
К. Тетмайеръ.—На полѣ битвы.....	» 99
Александръ Журинъ.—Морская битва.	» 133
Н. Абрамовичъ.—Бронированный швабъ... ..	» 135
В. Гаршинъ.—Изъ воспом. рядового Иванова.	» 139
Алексѣй Липецкій.—Въ окопахъ.....	» 155
Гюи-де-Мопассанъ.—Мадмуазель Фифи.	» 157





01



СКАНИРОВАНИЕ
ЭДД

оригер 12 662

с. 1- 173

18.10.13



в.п.

Цена 1 р. 25 к.

Въ пользу семействъ-запасныхъ

отчисляется 30% чистой прибыли.

Складъ изданія: „Книжная Экспедиція“, Москва, Глинищевскій, 6.

Типографія Акц. Общ. «Московское Издательство» Б. Дмитровка, 26.